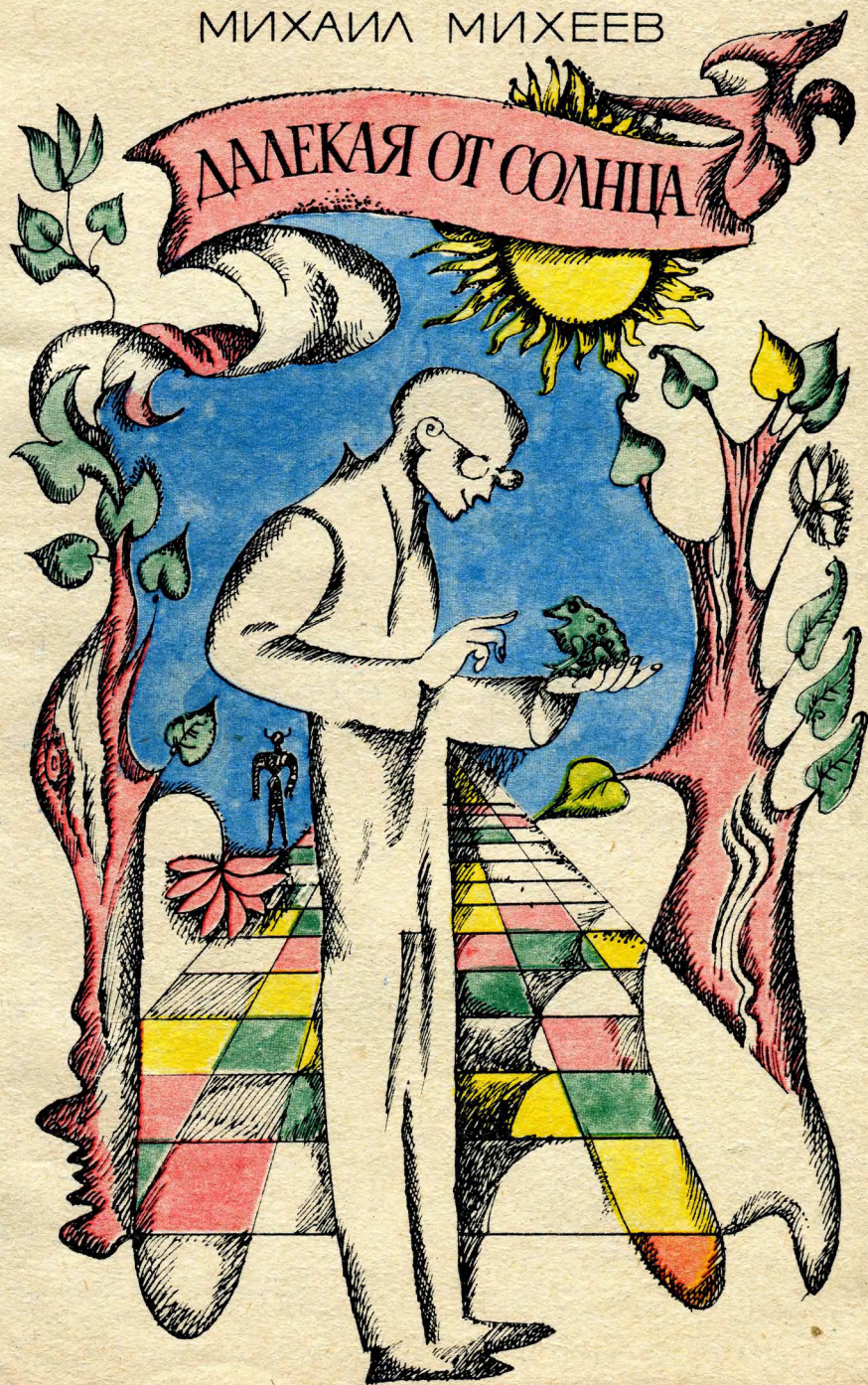


МИХАИЛ МИХЕЕВ



**ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ  
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
Новосибирск · 1969**

Приключенческие повести Михаила Михеева «Вирус В-13», «Тайна белого пятна», его фантастические рассказы «Которая ждет», «Счетная машина и ромашка», «Пустая комната», «Станция у Моря Дождей», «Сделаны людьми...», «Злой волшебник» и другие неизменно вызывают живой интерес у самых различных читателей — юных и взрослых, недавно перешагнувших порог школы и давно закончивших вуз.

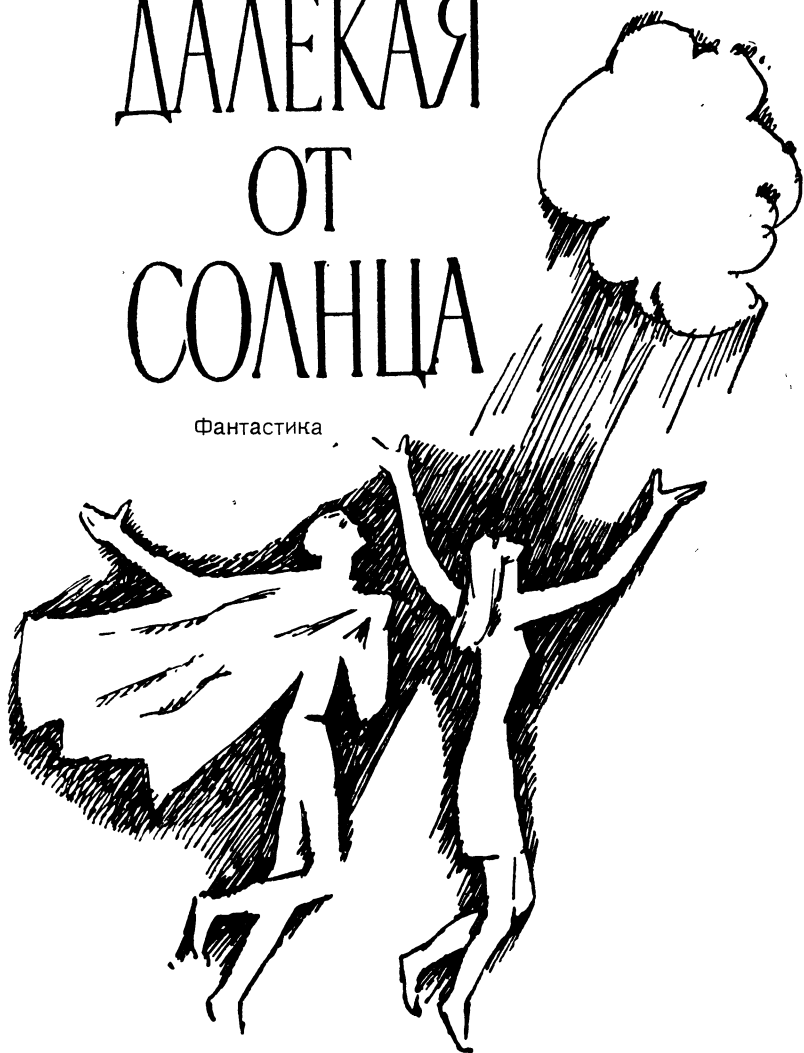
В предлагаемый сборник включены новые рассказы Михаила Михеева. Очень разнообразные по сюжетам, по месту действия (от сибирской деревни до далекой планеты Энн), они объединены одной темой: писатель настойчиво напоминает о великой силе науки, о ее безграничных возможностях, о том, какую огромную ответственность налагает это на ученых, открывающих неведомое.

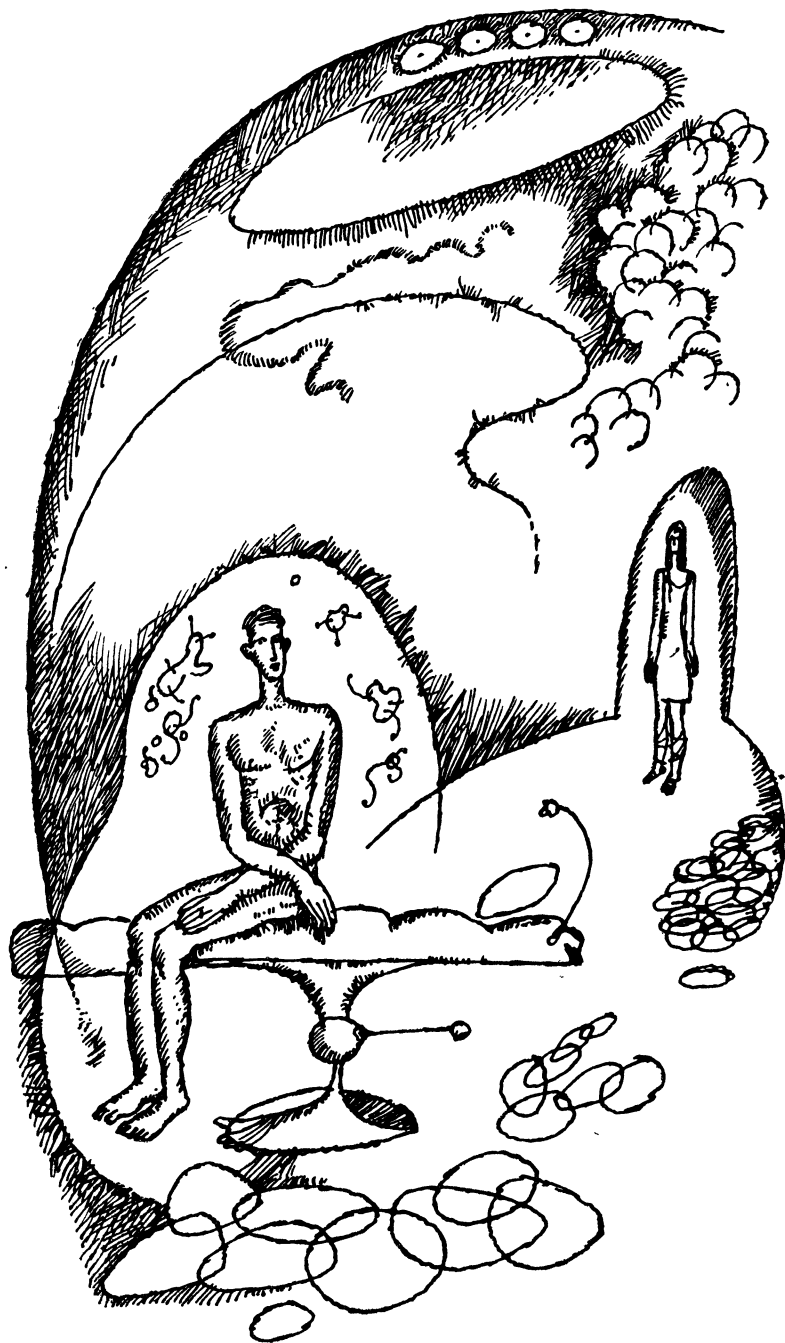
Х у д о ж н и к  
Э. ГОРОХОВСКИЙ

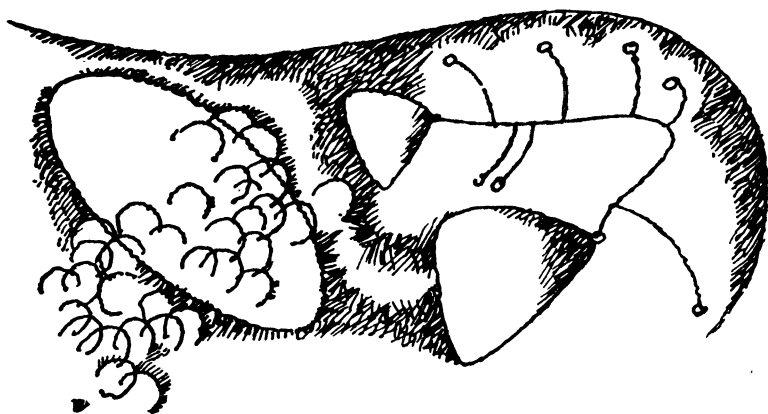
МИХАИЛ МИХЕЕВ

# ДАЛЕКАЯ ОТ СОЛНЦА

Фантастика







## ДАЛЕКАЯ ОТ СОЛНЦА

Третья планета Солнечной системы имеет в составе атмосферы кислород... есть все условия для существования белковой жизни... возможно наличие разумных существ...

Из первого справочника для астронавигаторов Планеты Энн.

### 1

Над Городом шел дождь.

Мелкие капельки, освещенные не ярким, из-за облаков, солнцем, беззвучно опускались на чешуйчатые купола домов, на пенолитовый гранит уличных переходов и пешеходных дорожек, на сферические крыши городских аэробусов, на лица прохожих, на прозрачный водопластик накидок и непромокаемых плащей.

Обычно дожди над Городами Планеты проходили ночью. Но, раз в декаду, Служба Погоды внезапно перегоняла облака с загородных полей и лесных массивов, и такие неожиданные дожди приносили на улицы

Городов веселую сумятицу, которая приятно нарушала некоторую монотонность искусственного климата.

Никто уже не расстраивался от того, что промочил ноги, простудные болезни исчезли много поколений тому назад.

## 2

В Институте Инженеров Хорошего Настроения только что закончились лекции.

— Дождь! — крикнул кто-то. — В Городе дождь!

Биполярные двери распахнулись во все стены. Толпы студентов заполнили просторные аллеи институтского парка.

С сине-фиолетовой листвы деревьев звучно шлепались крупные капли, легкие одежды сразу промокли, налипли на плечи. Но всем было весело, и никто не хотел уходить. Включили мелодинер, и под электрическую музыку юноши и девушки импровизировали под дождем на темы, которые давались им в лекциях по Танцевальной Пластике.

Мокрый аэробус стоял пустой у причальной колонки.

Внезапно возникший гул перекрыл разом и шум дождя и музыку мелодинера. Что-то тяжелое обрушилось сверху на деревья, ломая и расшвыривая ветки, и рухнуло на аллею, среди танцующих.

К счастью, никто серьезно не пострадал. Только одна девушка вскрикнула и затрясла обожженной рукой.

На аллее, вдавившись в пластмассовый песок, лежал большой — в два обхвата — закопченный шар. Дождевые капли вспыхивали на нем белыми шипящими облачками пара.

Плачущую девушку увели подруги.

Кто-то протянул к шару ладонь, ощущая излучаемое тепло.

— Метеорит?

— Нет, — сказал другой. — Не похоже.

Мелодинер выключили. Любопытные подошли ближе, окружили черный загадочный шар.

— Смотрите, смотрите!

По закопченной поверхности шара пробежали светлые трещины. Посыпалась окалина. Оболочка шара

вдруг начала раскрываться, как чашечка огромного цветка. Показалась веточка радиоантенны.

В это время над аллеей появился Патрульный Диск и опустил на шар экранирующее поле защиты.

### 3

На орбите Третьей Планеты Патрульный Диск № 24 принял дежурство у Патрульного Диска № 21, которому пора было возвращаться на зарядку энергобункера, а экипажу на отдых на родную Планету Энн.

Сменный пилот Патрульного Диска № 24, прощаясь, помигал лазером вслед улетевшим товарищам. Подогнал скорость Диска применительно к скорости патрулируемой Планеты. И пошел над нею на высоте двадцати ее диаметров. Опускаться ниже не следовало, можно было попасть в поле зрения мощного телескопа или в луч радара и возбудить у жителей Третьей Планеты ненужное любопытство.

Дежурный штурман сидел на своем месте у пульта звуковизора. Слушал через автомат-переводчик многоязычный радиоголос Планеты. Опустив на ее поверхность узкий луч локатора, следил за ее жизнью, чужой жизнью, столь непонятной ему. Хотя любой из жителей Третьей Планеты ничем не отличался от него.

Штурман не заметил ни момента запуска межпланетной станции, ни места, откуда она стартовала. Да и трудно было заметить, очень много поднималось с Третьей Планеты ракет; ракет специальных и исследовательских, ракет, которые выносили на орбиты спутники, служившие научным целям и другим, ненаучным делам.

Но автолокатор засек станцию, когда она, развив вторую космическую скорость, покинула орбиту Планеты. Штурман передал ее координаты пилоту.

Расчетный автомат тут же скорректировал угол поворота, необходимого для перехвата космической станции, и увеличил скорость Патрульного Диска. На переднем лезвии рассекателя заструилось бледно-голубое пламя, оно стремительно вытянулось длинным языком, и экипаж Диска утонул в упругом пластике противоперегрузочных кресел. Станция пересекала курс, при-



шлось делать огромную петлю, но автомат точно привел Диск в место встречи. Нагнав станцию, пилот включил ручное управление и пошел следом, немного в стороне от нее, чтобы не попасть в створ сигналов, которые связывали станцию с местом запуска, откуда направляли ее полет.

Станция развернула решетки солнечных батарей. Штурман услышал, как она передала свое первое сообщение.

Автомат-переводчик принял радио с Третьей Планеты. И стало известно, кто запустил станцию, куда она направляется и что от нее ждут.

— Это не к нам,— сказал штурман пилоту.— Это на другую Планету.

И Патрульный Диск вернулся в свою прежнюю орбиту над поверхностью Третьей Планеты.

## 4

Внеочередное Обсуждение в Совете Трехсот закончилось.

Члены Совета в молчании покинули зал. В молчании разъехались. После Обсуждения не было принято обмениваться мнениями.

Верховный Сумматор вышел последним.

Он выслушал полярные высказывания Членов Совета, суммировал различные взгляды и предложил решение.

И оно было утверждено.

Совет принял и утвердил Особое Задание. Оно было рискованным. Выполнение его связывалось с опасностью, смертельной опасностью для участников. Но другого пути никто не нашел.

Верховный Сумматор мог сейчас очутиться дома, не затратив на это особого труда, даже не нарушив ритма своих размышлений. Но размышления были невеселые. В душе Верховного Сумматора остались неуверенность и сомнения, ему хотелось от них избавиться, хотя бы на время.

Поэтому он избрал самый древний и самый успокаивающий способ передвижения — пошел домой пешком.

Минуя лифт, он спустился по лестнице в вестибюль.

Автомат Службы Погоды предупредил, что идет дождь. Мокнуть Верховному Сумматору не хотелось — никаких восторгов от этого он уже не получал. Поэтому он сразу прошел в угол, к вещевому ретранслятору, где хранилась уличная одежда.

Как и полагалось — угол был пуст. Только овал стереозеркала матово поблескивал на стене — Верховный Сумматор в него даже и не взглянул. Он протянул руку в пустой угол, и на руке, возникшая из пустоты, повисла накидка из веселого разноцветного водопластика.

Верховный Сумматор недовольно бросил накидку обратно в угол, и она исчезла.

Вещевые ретрансляторы изобрели сравнительно недавно: в Технике Быта то и дело появлялись разные новоустройства. Верховный Сумматор всегда считал, что трудно придумать что-либо удобнее простого стенового шкафа, где осязаемые вещи висят на виду, где всегда знаешь, что ты берешь. Однако ретрансляторы избавили дома и вестибюли общественных зданий от груд хранимой одежды. Он согласился, что это ценное изобретение, но привыкнуть к нему так и не успел.

Верховному Сумматору пришлось мысленно уточнить, что же ему требуется, и тогда он получил из ретранслятора темную одноцветную накидку с капюшоном и натянул ее на плечи.

Дверей на улицу у вестибюля не было. Вход закрывала непрозрачная пленка силового поля. Оно было настроено на биочастоту каждого из Членов Совета. Верховный Сумматор прошел через поле, как через мыльный пузырь.

они оказались удобнее прежних дверей с их автоматическими раздвигающимися створками. Но привыкнуть к новым дверям он тоже не успел и, каждый раз, проходя через неощутимую, но ясно видимую пленку силового поля, невольно закрывал глаза и наклонял голову.

Он спустился по пологим полукруглым ступеням и зашлепал мягкими подошвами по мокрому пенолиту пешеходной дорожки. Он шел, заложив руки за спину, провожаемый шепотом и взглядами прохожих. Самый

известный и самый старый житель Планеты. Он прожил немислимо долгую жизнь, триста восемьдесят циклов — почти три жизни нормального планетянина. Он уже и забыл, сколько раз Академия Здоровья проводила ему Регенерацию, которая частично обновляла и восстанавливала клетки старого тела. Давно уже у него работают чужие пересаженные почки, чужая печень, чужой желудок. И сердце... сердце тоже не его, а неизвестного ему юноши-астролетчика, который погиб при аварии корабля. Это его молодое сердце бьется сейчас в этой старой груди. Хорошее, сильное сердце!.. Оно еще пригодится кому-нибудь, когда он, Верховный Сумматор, сможет, наконец, перестать жить.

Давно потеряна радость ощущения своего бытия. Он уже как-то просил у Совета разрешения отправиться в Институт Последнего Дня, где его старое тело распылили бы на атомы.

Совет отказал ему в просьбе.

Его голова, его мозг — нервные клетки которого нельзя ни регенерировать, ни заменить — хранит знания, собранные за три поколения. Его опыт, его мудрость, его непогрешимая логика, его дар предвидения нужны Планете сейчас. И сейчас более чем когда-либо.

Все, что он предсказывал еще два поколения тому назад, свершилось...

Тогда из первой межпланетной разведки вернулся Патрульный Диск. Покрытый язвами метеоритных ударов, обожженный пламенем атмосферных слоев, дымящийся Диск опустился на ракетодром. Он привез видеозаписи, которые сделал, облетая по орбите их далекую соседку — Третью Планету.

Было созвано специальное Обсуждение в Совете Трехсот.

В глубоком молчании просмотрели Члены Совета на видеозэкранах картины жизни Третьей Планеты.

Верховный Сумматор сказал:

— Итак, мы убедились, что наши астрономы оказались правы — Третья Планета населена. На ней есть Разум, хотя жители ее еще ведут себя неразумно. В их атмосфере много кислорода, вероятно, поэтому у народов такая буйная горячая кровь. Они много времени тратят на войны и междоусобицы. Их культура и наука пока отстают от нашей на несколько поколений.

Но у них много энергии и пылкая фантазия, у них обязательно появятся космические корабли, и они начнут разведки окружающих планет. Мы еще не готовы к встрече с ними. Здесь много причин как морального, так и чисто биологического порядка. Вероятно, каждый понимает, о чем я говорю. На Третьей Планете не знают, что мы существуем, и мы должны, на время, спрятаться от них. Мы не имеем права ошибиться в оценке будущего, это может стоить жизни нашим поколениям.

Совет принял решение.

В атмосфере распылили миллиарды объемов ионизированной воды и за облачным занавесом скрылись от любопытных взоров астрономов Третьей Планеты. Чтобы поддерживать облачные массы, требовались колоссальные затраты энергии. На несколько циклов были выключены все подсобные потребители, вся освободившаяся мощность энергосистем пошла на распыление воды, ионизацию и устройство защитной пелены. Строились сложные установки для управления облачными массами, пришлось создавать станции искусственного климата, а это требовало новых и новых затрат. Некоторые Члены Совета считали все это ненужным — бездна Космоса, разделяющая планеты, казалась им надежной защитой...

И вот сегодня первая автоматическая станция, пробив ионизированный занавес, опустилась на поверхность Планеты Энн. Правда, она не успела послать сообщение — Патрульный Диск вовремя накрыл ее силовым полем экрана.

Третья Планета начала разведку дальнего Космоса...

Верховный Сумматор незаметно добрал до своего дома, так и не избавившись от своих тревожных мыслей и сомнений.

## 5

Он снял мокрую накидку, бросил ее в ретранслятор. Она исчезла не сразу, а растаяла постепенно, как струйка дыма в воздухе. Верховный Сумматор подумал, что пора сообщить в Бюро Обслуживания, чтобы заменили

разрядившиеся энергодатчики, он все время забывает об этом.

В его рабочей комнате стоял простой пластмассовый стол и старинное мягкое кресло.

В этом кресле сидел еще его отец. Верховный Сумматор заменить кресло не пожелал, хотя Бюро Обслуживания предлагало ему новое, современное, с биообслуживанием, которое могло по желанию менять форму, степень упругости, превращаться в спальное ложе и во многое другое. Самый старый человек на Планете... ему позволительно быть кое в чем старомодным.

Верховный Сумматор привычно расположился в кресле, вытянул ноги и сразу почувствовал, как он устал. Устал не физически, он свободно прошагал бы и не такой путь, молодое сердце астролетчика работало уверенно и надежно. Устала его голова. Он устал думать. Изнашивались, распадались клетки мозга, их нечем было заменить. И его колоссальная память уже с трудом и не сразу выдавала нужные сведения. Не изменяла ему только логика мышления. Он не утратил способности решать задачи, перед которыми были бесильны счетно-анализирующие машины Планеты.

Он закрыл глаза. Привычным усилием воли выключил сознание. И окружающий мир, полный забот и тревог, перестал для него существовать.

Верховный Сумматор спал.

Планета Энн продолжала заниматься своими неотложными делами. Бюро Погоды перегоняло облака с Городов на лесные массивы. На Главном Космодроме готовились к испытанию нового Космического Диска на антигравитационной подушке. Институт Проблемной Механики устанавливал машину для свертывания пространства. В Академии Микробиологии спешно искали вакцину против четыреста тридцать пятого вредоносного вируса, обнаруженного в атмосфере Третьей Планеты...

Верховный Сумматор спал. Но сон его был беспокойным.

Сегодня, на Обсуждении в Совете Трехсот, он сказал:

— Рано или поздно народы Третьей Планеты и Планеты Энн встретятся. Две цивилизации сольются в одну и дадут друг другу лучшее, что имеют. Будет один

народ на обеих Планетах, одни цели познания мира, одна жизнь. Это произойдет еще не скоро. Но мы должны начать к этому готовиться. Поэтому Патрульному Диску нужно опуститься на поверхность Третьей Планеты и выполнить Особое Задание...

Верховный Сумматор открыл глаза.

Он не сразу понял, что заставило его проснуться.

Тихий девичий голос где-то за стеной читал нараспев старинную, когда-то всем известную, а сейчас уже позабытую балладу:

... Рыбы, милые рыбы,  
Из чужого холодного мира...

Верховный Сумматор повернулся в кресле. Под его взглядом стена посветлела, по ней побежали радужные пятна, и вот она стала прозрачной.

Невысокие пушистые кустарники окружали площадку, засыпанную белым кристаллопластиком. На площадке стоял промадный шар-аквариум. Разноцветные кистеперые рыбы плавали среди сине-фиолетовых водорослей и тыкались в прозрачные стенки шишковатыми безобразными мордами.

Рыб кормила девушка.

Из маленького ведерка, стоящего у ног, она брала щепотки корма и бросала его в воду. Голос ее был еле слышен за стеной. Его хватило только на то, чтобы разбудить тревогу в сердце Верховного Сумматора. И он понял, что тревога и заставила его проснуться.

Девушка бросила последние крошки. Отряхнула ладони и, отступив от аквариума, заложила руки за спину.

Так же, как обычно делал он, Верховный Сумматор...

Как давно он не видел ее. Она много времени пробыла в Изоляторе Биоинститута, где ей делали прививки против смертоносных микробов и вирусов Третьей Планеты. Длительные и тяжелые процедуры. И опасные... Бедная девочка! Похудела, взгляд усталый, под глазами протянулись морщинки. Все это нужно!.. Нужно ли?..

Что-то опять заболело и заныло в груди. Конечно, это не сердце, оно не могло болеть, такое молодое здоровое сердце...

Девушка обернулась тревожно.

Но стена уже опять была непрозрачной...

Что ж, он сам предложил Совету Трехсот ее, как переводчицу для Особого Задания. Он считал, что имеет право подвергать риску ее жизнь, так как это была и его жизнь, его кровь, переданная через два поколения. Он объяснил Совету, что она рискует не более, чем весь экипаж Патрульного Диска.

Но Верховный Сумматор рассказал Совету не все...

## 6

Патрульный Диск долго шел над самой поверхностью Третьей Планеты.

Пилот придерживался затененной ночной стороны. Лучи пограничных радаров, несомненно, обнаружили диск; чтобы сбить наблюдателей с толку, штурман то и дело выбрасывал в воздух облачка ионизированного газа, тогда экраны радаров пересекали длинные светящиеся полосы, по которым трудно было судить о характере летящего предмета.

Сменный пилот достал из отсека, где лежали запасные части для двигателя, два комплекта одежды с неудобными застежками в виде круглых шайбочек — такую одежду носили все жители Третьей Планеты.

Экипаж диска точно знал, что нужно каждому делать.

Они понимали, чем рискуют.

Понимали и необходимость риска.

И если беспокоились, то только о том, чтобы выполнить Особое Задание как можно лучше. Задание потому и называлось Особым, что за всю историю планеты оно выполнялось впервые.

Диск замедлил скорость и медленно плыл в темноте над громадным материком — самым большим материком Третьей Планеты.

Штурман включил инфравизор. Леса... леса... широкая длинная полоса воды... цепочка огней поперек... берег... плещет волна, шумит ветер в вершинах деревьев.

Скамейка под деревьями...

Двое сидят на скамейке.

Штурман долго вслушивался в монотонное бормотание автомата-переводчика. Потом взглянул на пилота. Диск наклонился на ребро, скользнул вниз...

Ветер дул на берег.

Короткие и крутые волны речного моря накатывались на песок. Качались верхушки разлапистых сосен.

В лесу было совсем темно. Светлый «Москвич» за кустами боярышника походил на притаившегося зверя. Конечно, в машине сидеть было бы теплее, но там пахло бензином, Аня терпеть не могла этот запах.

На скамейке под соснами показалось вначале холодно. Но вскоре скамейка согрелась, Аня сбросила туфли и легла, положив голову на колени Васенкову. Она попыталась спрятать ноги под юбку, но сумела только прикрыть колени. Тогда Васенков протянул руку. Ладонь его была большая, ее хватило, чтобы закрыть ступни ног. Стало немножко теплее.

Аня притихла и лежала не шевелясь. Было хорошо так лежать и ни о чем не думать. Но рядом был Васенков, и не думать о нем тоже было нельзя.

— Васенков, — сказала она. — Ты что делаешь?

Он сидел, запрокинув лицо к темному в созвездиях небу.

— Смотрю.

— Куда смотришь?

— Смотрел на тебя. Теперь смотрю на звезды.

— А куда смотреть интереснее?

Васенков улыбнулся, прижал ладонью подошвы. Ногам стало совсем тепло. Аня повернула лицо.

— Я тоже буду смотреть. Это что за звезда?

— Альдебаран, в созвездии Тельца.

— А это?

— Я не пойму, куда ты показываешь.

— Ну, вот... вот!

— Это — Андромеда.

— А, это та, туманность?

— Созвездие. Туманность не разглядишь.

— Далеко до нее?

— Порядочно. Больше полумиллиона световых лет.

— Ух ты! Васенков, а как ты это все знаешь? Ты же не астроном, а физик.



— Ну, интересуюсь, всем понемножку. Читаю популярную литературу.

— Популярную и я читаю. Вот, скажем, где эти самые... ну, Сейшельские острова?

— В Индийском океане.

— Вот — знаешь! Я про них читала недавно. А где они есть, не запомнила. А ты все помнишь. Наверное, потому, что ты способный, а я простая, посредственная... Зато я тебя люблю больше, чем ты меня. Гораздо больше.

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что сильнее любить уже нельзя... А где Венера?

— Венеры сейчас не видно.

— А она все летит.

— Кто летит?

— Автоматическая станция.

— Летит. Скоро садиться будет.

— А телекамера на ней есть?

— Вот не знаю.

— Как же ты этого не знаешь? А хорошо, если бы была.

— Там тоже смотреть нечего.

— Почему нечего?

— Условия для органической жизни не подходящие. Температура и все прочее. Кислорода нет. Хотя толком еще никто ничего не знает.

— Вот видишь, не знают! А вдруг... представляешь, сидим мы, смотрим, что станция передает, и на экране такая симпатичная... неорганическая...

— Ящерица!

— Сам ты ящерица. Фу... скажет!

Аня приподнялась на локте, вдруг толкнула Васенкова и вскрикнула.

— Ты чего?

— Смотри, смотри!

Васенков послушно задрал голову.

— Пролетело что-то! — говорила Аня. — Вот отсюда — туда.

— А чего ты испугалась? Сова, наверное. Или летучая мышь.

— Нет, нет! Большое, круглое...

— Ты еще про летающее блюдо расскажи.

— Васенков, я серьезно. Ох, боюсь! Поехали отсюда. Заводи своего «Москвича». Подожди, не оставь меня здесь одну!

Аня наспех надела туфли и побежала следом за Васенковым к машине.

Васенков уже изучил сварливый характер и капризы своего старенького автомобиля и обычно находил с ним общий язык. Но на этот раз, безрезультатно повизжав стартером, он откинул крышку капота и убедился, что пробило катушку зажигания. Неисправность была, по шоферским понятиям, редкостная и уже по всем статьям непоправимая — катушку зажигания не ремонтируют.

Станция пригородных электричек была неподалеку. Васенков не стал терять времени и, бросив свой экипаж в кустах, успел посадить Аню на последний ночной поезд в город, а сам вернулся на берег.

Небо сплошь затянуло тучами, в лесу стало совсем темно, и Васенков кое-как разыскал в кустах свою машину. Он забрался на сидение, собираясь вздремнуть до утра. Просто так, чтобы лишний раз убедиться, включил зажигание и стартер.

Мотор заработал как ни в чем не бывало.

— Вот, черт! — Васенков даже не обрадовался. — Водитель-любитель. Аняте хоть не рассказывай, засмеет.

Прогревая мотор, он включил свет и увидел на скамейке, где они только что сидели, две мужские фигуры в светлых костюмах и шляпах. Они встали и, прикрывая лица ладонями от слепящего света фар, направились прямо к машине.

Покрой их широкоплечих пиджаков и широких брюк с отворотами был явно довоенный.

Васенков удивился.

Откуда бы это? Сейчас, кажется, даже эскимосы и те носят мини-юбки и джинсы. И что они делают тут ночью, на берегу. Для купания, пожалуй, холодно-вато...

Светлые костюмы разделились. Один пошел справа, другой слева, как бы беря машину в кольцо. Неужели...

— Глупости! — отмахнулся от такой мысли Васенков.

Сейчас попросят довести их до ближайшей станции или гостиницы. Он опустил стекло и высунул голову.

. . . . .

Много времени спустя, когда он лежал в больнице, и после, как выписался из нее, Васенков тщетно пытался вспомнить: что же произошло потом. Вот он покрутил ручку, опуская стекло, высунул голову из машины...

Далее был мрак, пустота, черное небытие...

## 7

Сознание вернулось сразу.

Васенков почувствовал, что лежит на спине, вытянувшись на чем-то упругом, хотя и не очень мягком. Руки были вытянуты вдоль тела; шевельнув пальцами, он коснулся бедер и понял, что лежит совсем обнаженный.

В больнице?

Совсем близко, возле глаз, поблескивала гнутая прозрачная поверхность, похожая на крышку. Васенков догадался, что лежит в чем-то похожем на саркофаг. Мимо лица проплывали струйки зеленоватого дыма, будто кто курил рядом папиросу. Но дышалось легко — зеленоватый дым не имел запаха.

Через прозрачную крышку был виден потолок комнаты, матово-белый, освещенный изнутри и покрытый странным узором, похожим на рыбью чешую.

Да, на больницу это не походило!

Голова работала отлично, мысли были ясные и отчетливые. Васенков помножил двадцать четыре на тринадцать и понял, что он не бредит, а видит все это воочию. И прозрачный саркофаг, и комната, и струйки зеленоватого дыма — все это было необычным и удивительным, однако удивительнее всего было то, что он принимал все окружающее как самое обычное, повседневное, будто он проснулся в своей комнате, на своей постели.

Он повернул голову.

И опять он не удивился, хотя мог бы заверить честным словом, что никогда в жизни не видел такого лица. На первый взгляд это было обычное девичье лицо, и все же оно чем-то отличалось от всех лиц, которые он видел до этого и даже если и не видел, то мог бы нарисовать в своем воображении. Может быть, в этом повинны были глаза девушки: темно-голубая радужная оболочка их была значительно увеличена, по сравнению с привычной, нормальной, взгляд их казался глубоким и загадочным, и Васенков вспомнил невольно рафаэлевскую Сикстинскую Мадонну — только могучее воображение художника могло создавать такие неземные и в то же время такие человеческие глаза.

Через прозрачную крышку девушка спокойно рассматривала Васенкова, и внезапно он так отчетливо представил себе, как он лежит перед ней, беспомощный и голый, как червяк.

Он смутился, покраснел.

Девушка подняла голову. Губы ее шевельнулись, она что-то сказала — крышка приглушила звуки.

Мужчина стоял с другой стороны и поодаль — Васенков мог разглядеть его всего, с ног до головы. Он был одет в светлую просторную одежду, похожую на дачную пижаму. Частая сетка старческих морщин покрывала его лицо. Он тоже смотрел на Васенкова, и глаза его были такие же необычные, как у девушки. Только взгляд их показался Васенкову холодным, даже враждебным. И лежать под таким взглядом было уже не столько стыдно, сколь унижительно.

Васенков поджал губы, шевельнулся нетерпеливо.

Мужчина не торопясь повернулся, подошел к стене... и исчез. Он не вышел через дверь, там не было ни прохода, ни дверей — чистая гладкая стена, Васенков видел ее хорошо. Казалось, мужчина просто прошел через нее. Это было не удивительно, а просто непонятно.

«Тут что-то не так!» — подумал Васенков.

В это время крышка саркофага сдвинулась и запрокинулась набок. Хлопья зеленоватого дыма растаяли в воздухе.

Васенков приподнялся, подобрал под себя ноги и сел.

Комната намоинала не то лабораторию, не то медицинский кабинет. Длинный узкий стол, на котором сидел Васенков, сильно походил на хирургический; тянулись к столу резиновые шланги и провода, матово поблескивали на тумбочках циферблаты незнакомых приборов. Васенков еще раз взглянул на стену, в которой исчез мужчина, и по-прежнему ничего там не разглядел. И вообще в комнате не было и следа каких-либо окон или дверей — белые гладкие пластмассовые стены и чешуйчатый светящийся потолок.

Сознание Васенкова работало чуть лениво, как после хорошего сна. Девушка стояла рядом и продолжала разглядывать его спокойно, как больного, пришедшего в себя после наркоза. Васенков и сам бы подумал, что лежит где-то в больнице — мало ли каких кабинетов ни настроили в клиниках. Вот только эти стены... Да и сама девушка уж никак не походила на медсестру.

Пижаму бы принесла, что ли!

Он не успел ничего сказать, девушка молча кивнула головой и направилась в угол. Васенков, конечно, поглядел ей вслед. Она была одета в короткий, похожий на купальный, халатик. На босых загорелых ногах были затейливые плетеные сандалеты без каблуков.

Она совсем недолго задержалась в углу, где ничего не стояло и ничего не висело, тем не менее вернулась оттуда с одеждой. Молча подала ее Васенкову и отступила на шаг.

Васенков ожидал, что она уйдет или отвернется хотя бы. Не мог же он одеваться, когда она смотрит! Он хотел спуститься со стола на противоположную сторону, но там висела крышка.

Черт знает что!

Он нахмурился, и на лице у девушки появилось легкое недоумение, она даже моргнула растерянно. Потом повернулась к нему спиной.

Давно бы пора сообразить!.. Он быстро разобрался в одежде, нашел брюки, сунул в них разом обе ноги и прыгнул на пол. Брюки оказались впору — он был узок в бедрах. Но куртка явно не налезала на плечи. Он сильно повел руками, ожидая, что тонкая ткань пижамы расползется по швам. Но куртка, как стальная кольчуга, только врезалась в тело, стесняя движения.

Васенков хотел ее снять, но никак не мог зацепить пальцем рукав.

Тогда девушка протянула руку, дернула за рукав, и куртка снялась. Девушка унесла ее обратно, в тот же угол. На этот раз Васенков смотрел во все глаза. Угол на самом деле был пуст, плавно сходились две стены — и все. Она бросила куртку в угол. Куртка исчезла. Вместо нее в руках появилась другая.

Васенков сильно моргнул. Тряхнул головой.

Здорово походило на фокусы Кио, хотя заниматься ими здесь вроде бы и не было надобности...

Новая куртка оказалась даже свободной. Пуговиц и застежек каких-либо Васенков на ней не нашел. Полы куртки просто прилипали одна к другой, как намазанные клеем. И это оказалось даже удобнее пуговиц.

Он посмотрел на свои босые ноги и увидел на полу сандалеты. Такие же плетеные, как у девушки. Откуда они появились, он не заметил. Когда спускался со стола, их, похоже, не было.

Он пригладил волосы и повернулся к девушке.

— Здравствуйте! — сказал он.

— Здравствуйте! — ответила она, слегка нараспев. — Как вас называют?

— Зовут, — поправил Васенков.

Сонное оцепенение проходило медленно, и удивляться он начал уже потом.

## 8

Он не спрашивал ничего.

Девушка рассказала все сама.

Она говорила минуты две, не более, и как ни фантастично было все, что Васенков услышал, он поверил в это сразу.

Да, он находится на обитаемой Планете. Девушка назвала ее Планета Энн. Разумеется, это ничего не говорило Васенкову, но девушка пока не сообщила никаких астрономических ориентиров, по которым можно было понять, что это за планета. Условия жизни на ней были схожи с земными, и населяли ее, естественно, разумные существа, внешне почти не отличающиеся от земных людей. А если судить по этой девушке, то та-

ких на Земле, по мнению Васенкова, еще пришлось бы искать.

Точного ее имени он, как ни старался, произнести не мог. На их певучем языке это звучало нечто вроде Ллииинн. Простая длительность звука, как мог заключить Васенков, коренным образом меняла значение слова. Непривычное ухо его не различало таких тонкостей, поэтому он попросил разрешения называть ее просто Линн.

Она кивнула согласно, хотя и улыбнулась чуть. Возможно, это слово обозначало что-либо на их языке, но она не стала объяснять.

Линн свободно говорила по-русски и по-английски — в специальном Институте по изучению Третьей Планеты преподавались именно два этих языка.

Вопросов, разумеется, у Васенкова было множество. Однако он считал, что узнает все в свое время, а пока старался не быть излишне любопытным. Меньше всего ему хотелось походить на малограмотного простака, попавшего в окружение технических чудес.

Конечно, чудес здесь не было. Было тонкое владение тайнами строения материи. Высочайшая, доведенная до совершенства техника — и все! Васенков это так и принимал. Он считал себя способным инженером и, тем не менее, многого объяснить себе не мог. Это действовало на самолюбие, и он не хотел выражать своего удивления вслух.

А удивительного было сколько угодно.

Например, эти стены!

В комнате, в которую они попали из лаборатории, также не было ни окон, ни дверей. Линн просто подошла к стене... и шагнула прямо в нее, как будто стена была из неощутимого, хотя и видимого вещества. Васенков, идя следом, оторопело замешкался. Линн оглянулась, он шагнул поспешно, и стена тут же сомкнулась за его спиной. Он обернулся, потыкал в стену пальцем, взглянул на Линн... и ничего не спросил.

Комната была вначале пуста. Столик и две мягкие скамеечки появились незаметно, не то из-под пола, не то из стены — он даже не заметил, откуда именно.

— Сейчас я буду вас кормить, — сказала Линн. — Вы хотите есть?

Васенков подумал.

— Что-то не пойму. А я долго к вам летел?

— Не очень!

Она уклонилась от точного ответа, он не стал переспрашивать.

Легонько, одним пальцем Линн толкнула легкий столик к стене. Потом прямо из стены достала тарелочку, за ней другую... третью... Васенков отвернулся, присел на скамеечку и уставился на потолок.

По чешуйчатой поверхности потолка побежали, вздрагивая и переливаясь, разноцветные зелено-голубые сполохи, похожие на игру северного сияния... и Васенков услышал музыку. Он повертел головой, пытаясь определить, откуда она доносится, и тут же догадался, что музыка рождается внутри него, в его сознании, вот от этих зелено-голубых мельканий. Он закрыл глаза — и музыка стихла.

Цветовая психотехника!

И Васенков даже обрадовался, что хоть что-то из увиденного смог понять и объяснить.

Линн подкатила к нему столик и начала снимать крышки с тарелочек. Кушанья выглядели весьма необычно, но пахло вкусно. Зато столовый прибор малочем отличался от земного. Васенков с удовольствием взял в руки вилку — нехитрую четырехзубую конструкцию из приятного золотистого металла. И подумал, что если даже здесь не сконструировали ничего, что могло бы заменить вилку, то это значит, она и на Земле просуществует еще долго, пока люди не сотворят какие-либо питательные таблетки или не начнут выдавливать съедобную пасту из тюбиков прямо в рот, как космонавты.

Тарелочек перед Васенковым стояло много, и он не знал, с чего начать. Как бы ни оправдывало его незнание местных обычаев, ему не хотелось выглядеть смешным. Линн и тут догадалась о его затруднениях. Ничего не говоря, она начала есть сама. Поглядывая на нее, Васенков подвинул к себе тарелочку с чем-то похожим на вермишель. По вкусу она напоминала рыбу. Съел котлетку, похожую на мясную, но это оказалось не мясо.

Немного освоившись, он просто подвигал к себе одну тарелочку за другой и запивал из бокала чем-то, похожим на крюшон.



А потом Линн толкнула столик, и он уехал сквозь стену.

Когда столик вернулся, на нем стояла большая круглая ваза, как будто хрустальная. Через ее края на стол свешивались большие фиолетовые цветы странной формы, с четырьмя клиновидными лепестками и ярко-золотистыми длинными тычинками. Кажется, цветы были настоящими, так как в вазу была налита вода.

Васенков устроился поудобнее на скамеечке, вытянул ноги... и вдруг почувствовал, как скамеечка под ним шевельнулась, задвигалась.

— Не пугайтесь,— сказала Линн.

И Васенков понял, что сидит в мягком покойном кресле и руки его лежат на подлокотниках.

— Вам удобно? — спросила Линн.

Спинка его кресла, словно живая, качнулась назад... вперед, как бы отыскивая наилучшее для Васенкова положение.

— Спасибо! — сказал он. — Мне уже хорошо.

## 9

Линн молчала.

Васенков выжидательно сложил руки на коленях. Он не собирался начинать разговор. Он не напрашивался в гости, и коли уж его сюда привезли, пусть объяснят сами, зачем он здесь понадобился. И если здесь считают, что это начало контакта двух культурных миров, двух цивилизаций, то, прямо говоря, начало плохое. При таком уровне культуры можно было придумать что-либо умнее похищения...

Линн протянула руку и взяла из чашки цветок. У цветка оказался длинный, как у кувшинки, стебель, он прочеркнул по столу мокрую полосу. Потом Васенков явственно почувствовал, что Линн смотрит на него. И ему показалось — он даже как-то ощутил это, что Линн уже знает, о чем он думает и о чем хотел бы узнать и говорить. И хотя ему нечего было стесняться ни своих мыслей, ни будущих слов, он почувствовал неловкость не за себя, а за Линн, словно уличил ее в подглядывании в замочную скважину.

Он насупился и покраснел. И Линн тотчас опустила глаза.

— Извините меня! — сказала она тихо.

Васенков только вздохнул.

— Не сердитесь, — продолжала Линн. — Я не буду так больше.., не сердитесь.

— Ничего, — сказал Васенков. — Я уже не сержусь.

Он поднял глаза к потолку и прислушался к музыке. Непонятные мелодии набегали, сменяли одна другую. Казалось, музыка пытается подстроиться к его настроению... он вздрогнул от неожиданности, услышав звуки Четвертой симфонии Чайковского, до того она показалась неуместной в этом неземном пластмассовом мире. И тут же симфонию сменили певучие неторопливые созвучия. Васенков прислушался с любопытством... чуть бы потише! — и музыка послушно притихла.

Положив руки на стол, Линн перебирала сине-фиолетовые лепестки цветка. Золотистая пыльца пачкала ее пальцы. Она уже не смотрела на Васенкова.

Он решил, что ему незачем повторять свои вопросы вслух.

Линн начала говорить сама.

Она негромко и слегка нараспев произносила слова, изредка останавливаясь, очевидно, подбирая нужное ей выражение на чужом, незнакомом ей языке, и Васенков не мог не признать, что она справлялась со своей задачей хорошо.

— Я согласна, — сказала она, — мы привезли вас сюда без вашего согласия, мы поступили не очень... — она запнулась.

Васенков великодушно пришел ей на помощь:

— Не очень хорошо, — подсказал он.

— Не очень хорошо, да, — послушно повторила Линн. — Это плохой начал... плохое начало, — поправилась она сама, — для контакта двух цивилизаций.

Она повторила слова, которые он еще не успел произнести, и улыбнулась чуть виновато. «Как они это умеют? — подумал Васенков. — Параспсихология!..». Он нервно постучал по подлокотнику кресла пальцами, хотел спросить. Но Линн по-прежнему не смотрела на него, и он не спросил.

За все время разговора она ни разу не подняла на него глаз.

— Встреча с вами,— продолжала Линн,— это еще не начало контакта. Это случайная встреча. После нее... после нее все останется как был... как было. Вы ничего не будете о нас знать.

— Почему? — спросил Васенков.

И подумал: «А как же я? Я-то ведь уже знаю... Куда же денут меня?».

Но эта мысль мелькнула и исчезла, не вызвав особой тревоги. Почему-то Васенков был уверен, что с ним здесь ничего плохого не может случиться.

— Вы боитесь нас? — спросил Васенков.

— Да, — согласилась Линн. — Мы боимся, потому что многого еще не понимаем. Вся история вашей Планеты — это войны и войны без конца. Мы не можем без страха смотреть на экранах картины ваших сражений. У нас не было этого. Мы сражались только с природой, которая всегда была к нам... немилостива. У вас все шло иначе.

«Да, у нас все шло иначе!»... — подумал Васенков.

— У вас много, очень много хорошего, — продолжала Линн. — Нам бы очень хотелось встретиться. Но это время еще не пришло. Мы должны подготовиться к встрече. Поэтому Верховный Совет Планеты — Совет Трехсот решил познакомиться с представителем вашего мира. И вот вы здесь.

— На Земле более трех миллиардов представителей. Почему ваш выбор пал именно на меня? Или это произошло случайно?

— Не совсем. Вы гражданин страны, которая особенно настойчиво ведет разведку окружающих планет,— сказала Линн.

Васенков хотел быть объективным:

— Американцы тоже ведут.

— Да, мы знаем,— согласилась Линн.— Но вы, русские, первыми начали строить общество будущего, нам легче вас понять. Поэтому мы выбрали вашу страну. Нужен был представитель этой страны, который мог бы ответить нам на вопросы.

— Вот как? — сказал Васенков.— Мне будут задавать вопросы? Кто, вы?

— Нет. Совет Трехсот.

— О чем же?

Линн помолчала.

— Вы не знаете? — спросил Васенков.

— Примерно знаю. Лучше будет, если вы услышите их на Совете. Мы запишем на диктографе ваши ответы, ваши мысли, ваши эмоции и попытаемся составить представление о вашем земном характере.

— Чем же наш характер так непонятен?

— Своей нелогичностью. Здесь, у нас, наши дела, наши поступки всегда подчиняются логической необходимости: *так нужно!* Вы у себя на Планете часто говорите: *Я так хочу!* И делаете поступки, совершенно непонятные для нас.

— Пожалуй, это будет нелегко вам объяснить, — сказал Васенков. — А вы не считаете, — не утерпел он, — что скучно все время жить по закону *так нужно?*

— Может быть, — согласилась Линн. — Но мы не привыкли жить иначе.

— Значит, — решил уточнить Васенков, — основное, что мешает встрече, — это неустройство наших домашних дел?

— Не только это, — сказала Линн. — Есть опасность более грозная. Ваши микробы.

— Микробы?

— Много поколений тому назад мы у себя на Планете уничтожили все инфекционные болезни и полностью потеряли иммунитет. Вы можете свободно жить среди нас, дышать нашим воздухом. Но мы уже не можем дышать тем воздухом, которым дышали вы. Эта комната, в которой мы сидим, изолирована от атмосферы Планеты специальным полем биозащиты.

— Неужели я так опасен? Вы же окуривали меня вашим газом.

— Это была только поверхностная обработка экзонм. Она не сможет уничтожить всех ваших микробов. Все поры вашего тела наполнены вирусами, большинство из них смертельны для нас. Вы один способны погубить все население нашей Планеты.

— А как же вы сидите со мной? — спросил Васенков.

— Я проходила специальную процедуру иммунизации против ваших болезней. Это очень трудно... и очень неприятно. И она все-таки тоже не защищает полностью.

— Ну, а люди, которые меня сюда привезли?

— Пилоты, выполнившие Особое Задание,— пояснила Линн.— Они тоже проходили иммунизацию.

— Они дышали воздухом моей Планеты. Они остались живы?

Линн не ответила.

Она оторвала от цветка лепесток, положила его на стол. За ним рядом другой... третий.

На цветке остался один лепесток.

— Неужели? — только и мог сказать Васенков.

— Да,— кивнула Линн.— Последним погиб сменный пилот. Он успел усадить вас в противоперегрузочное кресло, включить кислород... На космодром Диск привели уже автоматы.

— Отчего же они умерли?

— Вирус сто девяносто второй. Вы называете его — грипп. Для вас это простой насморк. Для нас пока это — смертельная болезнь.

— Подумать... У вас такая техника, медицина... А пилоты умирают от простого гриппа. Неужели вы не могли найти вакцину?

— Наши медики думали, что нашли. Процедура иммунизации защищает от многих болезней, но не от всех. Одних вирусов гриппа на вашей Планете более двухсот. Это наши медики обнаружили столько. А сколько их на самом деле, не знает никто.

— Значит, — решил уточнить Васенков, — находясь в моем обществе, вы рискуете заразиться каким-либо неведомым вирусом? Почему вы не отгородитесь от меня вашим полем биозащиты?

Склонив голову, Линн разглаживала на коленях последний оставшийся на цветке лепесток.

— Мне нельзя... отгородиться от вас... полем биозащиты,— наконец сказала она.

— Но почему? — настаивал Васенков.— Вы таким образом проверяете надежность новой вакцины? Или еще чего-нибудь?

Линн тихо вздохнула.

— Не спрашивайте меня.

— Это что, секрет?

— Не сердитесь... Хорошо, я объясню. Поле биозащиты изолирует полностью. Я перестаю чувствовать вас, а мне это важно. Не просто уловить вашу мысль, а ее возникновение, ее развитие... Я тогда лучше по-

нимаю вас...— Помолчав, она добавила убежденно: — Мне очень нужно верно понять вас.

— Очень нужно...— повторил Васенков.— Ну, а я? После того, как я буду вам не нужен, куда вы денете меня?

— Вас отправят обратно, сразу после Совета.

— А вы не боитесь, что я у себя на Планете раскрою вашу тайну?

— Нет.

— Вы возьмете с меня слово?

— Тоже нет.

— Не понимаю тогда,— нахмурился Васенков.

— Просто у вас в памяти сотрут все воспоминания, начиная с того момента, как вы очнулись под колпаком биообработки.

— Вот оно что...— Васенков задумался.— Любопытно, конечно, как это вы сделаете. А у меня, случайно, не сотрут чего-либо моего, земного? Знаете, мне не хотелось бы кое-что забывать.

— Вашего не тронут. Только то, что связано с нами.

— Это сотрут все?

— Все!

— И даже вас?

Васенков сказал это с улыбкой.

Но Линн не улыбалась.

Она, впервые за все время разговора, подняла глаза, они были чуть печальны.

— Меня сотрут в первую очередь.

Она смяла в руке цветок с единственным лепестком. Потом медленно раскрыла ладонь. Ладонь была пуста. Цветок исчез. Васенков подумал, что Линн уронила его на пол, и взглянул под стол. Под столом тоже не было ничего.

Васенков откинулся на спинку кресла. Оно уже не казалось ему таким удобным и мягким. Он почувствовал, что устал, устал от чудес, от разговора с Линн, от ее неземных и прекрасных, до боли непривычных глаз.

И почувствовал, как ему хочется домой, на свою родную, понятную Планету Земля.

— Сейчас начнется Обсуждение в Совете Трехсот,— сказала Линн.

Слабо разбираясь в нейробиологии, Васенков все же знал, что даже медики не могут толком объяснить, что такое память и где она помещается. Поэтому он плохо представлял себе, как это можно в хитрых закоулках его мозга, среди миллиардов нервных клеток, хранящих информацию, разыскать нужные и стереть в них записи, как стирают ненужную строчку в рукописи.

И вот он убедился, что это возможно.

Он был на Обсуждении в Совете Трехсот. И уже не помнит, что он там говорил.

Единственное, что осталось в памяти, — огромный зал, с высокими сводами. Стены расходятся под углом, образуя сектор круга. Он сидит в кресле, в вершине угла. Линн стоит за креслом, совсем близко, он чуть слышит ее дыхание.

Перед ним на скамейках, выгнутых по все удлиняющимся дугам, сидят Члены Совета. Он уже не помнит их лиц. Он не понимает, как сюда попал.

Только что они сидели в комнате. И после слов Линн стены комнаты начали светлеть, по ним заструились дымчатые пятна. Пятна исчезли, за ними расставали стены, и вот он увидел этот зал.

Впереди всех на отдельном кресле сидел мужчина с морщинистым, старческим лицом. Опустив на грудь голову, он не глядел ни на кого и был неподвижен, как статуя. Внезапно он поднял ладонь, и движение в зале затихло. Губы его шевельнулись. Силовое поле биозащиты не пропускало ни звука.

Линн сказала за спиной:

— Верховный Сумматор спрашивает: готов ли Гражданин Третьей Планеты отвечать?

— Да! — сказал Васенков. — Готов!

Потом, как очнувшись после сна, он увидел себя опять в комнате. Рядом не было Линн, не было столика с цветами. Не было кресла — Васенков сидел на широком и мягком ложе. Внутреннее чувство подсказывало ему, что с того момента, как ему задали вопрос, прошло около часа.

Что произошло в это время?

О чем его спрашивали? Что он отвечал?

Все уплыло из памяти, как утреннее сновидение. Васенков вдруг сообразил, что уже плохо помнит и тот момент, как он очнулся под колпаком биообработки и увидел лицо Линн. Кто-то могущественный хозяйничал в тайниках его мозга, перелистывал его память, как книгу, смывая многие строки. Пока Линн была рядом, Васенков ни о чем не беспокоился, одно ее присутствие как бы заверяло, что с ним ничего плохого не случится.

Он не знал, почему и когда она покинула его.

— Линн! — позвал он. — Линн!

И ему стало не по себе.

Он поднялся, взволнованно прошелся по комнате. Постучал в пластмассовую стену кулаком.

— Линн!..

Свет в комнате начал меркнуть. Темно-зеленое зарево задрожало на потолке. Комната наполнилась зыбким сонным туманом. Васенков упрямо тряхнул головой, но зеленые волны уже топили, захлестывали сознание.

Он устало опустился на ложе.

Багровые мятущиеся полосы побежали по стенам. Васенков закрыл глаза... над головой закачались темные вершины сосен... он услышал, как зашумели волны речного моря... под его рукой маленькие ступни Ани, и ему хорошо, и ничего не хочется делать, ни думать, ни говорить...

## 11

Светлым лучиком через черную пустоту пробился знакомый просящий голос:

— Васенков! Ну, проснись... открой же глаза, милый...

Чьи-то руки коснулись его лица, тут голос стал ясным, хорошо слышимым, и Васенков почувствовал нестерпимую радость и улыбнулся прежде, чем открыл глаза.

Он увидел потолок, покрашенный известкой, — были заметны даже следы от кисти, а в углу, там, где проходили трубы отопления, расплылось темное пятно. Потом все закрыло лицо Ани, плачущее и смеющееся.



еся одновременно. Она опустила голову на плечо, и тогда он увидел знакомого бородатого врача местной больницы — совсем недавно Васенков устанавливал кардиограф в его кабинете.

— Доктор, — сказал Васенков. — Я рад вас видеть, доктор. Как работает ваш кардиограф?

— Что я вам говорил? — повернулся врач к кому-то за своей спиной.

Васенков почувствовал, как горячие слезинки покатались по шее за воротник рубашки. Волосы Ани лезли ему в рот, он убрал их и поцеловал ухо, которое оказалось возле его губ.

— Большой в порядке, — сказал врач. — Сейчас мы все узнаем.

Но Васенков так ничего и не смог рассказать.

Его «Москвич» нашли утром в кустах, на берегу речного моря. Зажигание было выключено, но ключ торчал в щитке. Прибывший автоинспектор без хлопот отогнал машину по адресу. Васенкова дома не оказалось. Не было его и в институте. Аня уже в милиции рассказала о событиях прошедшего вечера. Она упомянула и о «летающем блюде», но никто не принял этого сообщения всерьез.

Васенков нашелся на седьмой день.

...Два обских рыбака, вернувшись после утреннего осмотра переметов, обнаружили в своей избушке незнакомца. Он лежал на их постели и был не то без сознания, не то спал, но так крепко, что добудиться его не могли. Не могли и сообразить, как он попал к ним в избушку в наглаженных брючках и начищенных ботинках, хотя избушка находилась среди зарослей, в десятке километров от ближайшей пристани.

— Вот мы с Василием и подумали, — рассказывал рыбак дежурному районной милиции, — что этого парня не иначе как с самолета к нам скинули. С парашютом, значит. А то как бы он, такой чистенький, к нам добрался. Может, трахнулся обо что, вгорячах не заметил, а потом уже сознание потерял. Одет-то не по-лётному — брючки, рубашечка. Сомнительно нам стало... Значит, его Василий сейчас там на мушке пока держит, вдруг очнется. А я в лодку, и к вам.

Катер рыбаков быстро доставил милиционера к рыбакам.

Незнакомец продолжал спать. В кармане его куртки нашли удостоверение шофера-любителя..

Пока Васенков попал в свою больницу, его несколько раз переносили на руках, из рыбацкой избушки в катер, затем на машину, на самолет, опять на машину — он так и не проснулся.

Аню в больницу пригласил врач.

Васенков пришел в себя сразу, как только она назвала его по имени.

Его история поначалу весьма заинтересовала следователя. Потом выяснилось, что объяснить все случившееся похищением, с целью выведать у Васенкова какие-либо государственные тайны, не было оснований. Он не имел отношения ни к секретным изобретениям, ни к другим подобным делам. Васенков пытался помочь следователю, как мог. Но последнее, что он помнил, это двое мужчин в светлых костюмах доверенного покроя. Старомодность костюмов сбивала с толку, а других подробностей Васенков не помнил.

Вероятно и поныне в архиве следственного отдела лежит тоненькая папка с кратким пересказом случившегося и заключением следователя, что дело прекращено, за отсутствием каких-либо дополнительных материалов..

## 12

...На чешуйчатом потолке медленно погасло темно-зеленое зарево. Багровые мятущиеся сполохи побежали по стенам. Комнату затопил розовый дрожащий туман. Багровые вспышки становились все резче и резче, нестерпимо-томительное беспокойство овладело сознанием.

Тонкая белая фигура прошла через стену и присела рядом с ним на ложе.

— Аня!

Огромные неземные глаза заглянули в лицо. И тогда он откинулся назад и сказал: нет! нет!..

. . . . . :

— Васенков!

Он проснулся.

Через шторы на окнах в комнату проникал слабый свет начинающегося утра. Аня трясла его за плечо.

— Хм... Ты что? — стряхивая сон, спросил Васенков.

— Напугал меня. Говорил что-то во сне.

— Говорил... Что говорил?

— Не поняла. Будто звал кого-то.

Васенков сильно потер лицо. Внимательно осмотрел потолок. Он сам не знал, зачем ему понадобился потолок. Потом повернулся к Ане.

— Приснилось что-то... А ты чего поднялась? Рано еще, спи... жена.

Он запнулся на непривычном пока слове.

— Я уже выпалась. Я так полежу.

Аня свернулась клубочком у него под боком. В комнате было тепло и тихо. Далеко на проспекте прогудела машина. Забормотало радио на кухне, передавая последние известия. Васенков прислушался. Протянул руку, включил самодельный транзистор на тумбочке у кровати.

— ...совершила мягкую посадку на Венеру... — сказал приемник, хрипнул и замолк.

— Вот, черт!

Васенков взял транзистор в руки, нетерпеливо постучал по нему пальцами.

— ...при спуске станция передала сведения... давление... кислорода... углекислоты... температура...

Не выпуская приемника из рук и временами поколачивая его, Васенков и Аня дослушали сообщение.

— Значит, необитаемая, — сказала Аня.

— Выходит, так...

— Жаль. Мечту жаль... А может, все же кто-нибудь живет там, а?

— Органической жизни, как видно, нет. Температура высокая. Можно в порядке фантазии предположить существование разумной жизни на другой основе. Не углеводородный белковый, а, скажем, кремниевый мир.

— Кремниевый?.. Это вроде как каменный?

— Да, вроде.

Аня повозилась возле плеча Васенкова.

— Вот бы тебе такую... кремниевую жену.

— Что ты! — сказал Васенков. — Ну зачем мне кремниевую.

И он поцеловал ее теплую и румяную щеку.

Теперь Верховный Сумматор кормил рыб сам.

Бросив последние крошки, он отряхнул руки. Заложил их за спину. Долго стоял поникший и бездумный. Смотрел, как плавают в аквариуме разноцветные рыбы, тычутся в прозрачные стенки уродливыми носами.

... Рыбы, милые рыбы,  
Из чужого холодного мира...

То, чего он боялся, свершилось.

Он уже начал было надеяться. Но потом она умерла...

Он медленно побрел в свою комнату. Устало опустился в кресло. Ему не хотелось ничего делать. Не хотелось ни о чем думать.

Особое Задание... Четверо уже отдали за него жизнь.

Верховный Сумматор наклонился к столу и включил диктограф. И в который раз уже услышал голос, сильный уверенный голос. Незнакомый язык, но он уже знал его перевод:

— ...Человечество Земли прошло долгий и кровавый путь своего развития... — он хорошо говорил, этот юноша, он понравился всем и даже ему, Верховному Сумматору. — ...Было много ошибок, общественных катастроф и еще много трудного впереди. Но уже отыскана дорога, которая может, — которая должна! — привести наши разноязычные народы к вечному миру и содружеству. Моя страна, мой народ не причинят вам вреда, за это я готов поручиться жизнью. Но я не могу говорить так от имени всех стран нашей Планеты. Поэтому поступайте, как подсказывает вам ваш опыт и ваша мудрость...

Верховный Сумматор поднял глаза. Потолок посветлел и исчез, и над ним раскинулась мутно-серая пелена облаков. Но он как бы смотрел через объектив деполяризатора и видел чистое, темно-синее небо в гроздях созвездий.

И там, невысоко над горизонтом, мерцала крохотная голубоватая звездочка — далекая Третья Планета.

Пока далекая...





## МАШКА

Я читал студентам лекцию по проблемам конструирования думающих машин и неожиданно потерял сознание.

Врачам скорой помощи я доставил немало хлопот. Сознание вернулось только на следующий день — зыбкое сумеречное ощущение внешнего мира. Прошло порядочно времени, прежде чем я начал нормально соотносить и вспомнил, что со мной произошло.

— Инсульт, — сказал профессор, — инсульт, молодой человек. Кровоизлияние в мозг. Будем считать, что вам здорово повезло. Могло окончиться гораздо хуже. Не пугаю, предупреждаю на будущее... Конечно, есть явления раннего склероза, но главная причина — перенапряжение нервной системы. Неаккуратно думаете. Да, да, молодой человек, неаккуратно! Перегружаете

тесь... Перегружать можно руки, ноги, словом — мышечную систему. А нервную — нужно упрашивать. Да, да! Вежливо упрашивать и прислушиваться, когда она отвечает: нет! А мы не слушаем... Голова, небось, побаливала по утрам?

Профессору было, вероятно, за шестьдесят; но и мне было уже за тридцать, молодым человеком я себя никак не считал, и слова профессора показались мне обидными.

— Не помню, — сказал я и отвернулся к стене.

Согласен, мое поведение можно назвать хамским, что там ни говори, а врачебное искусство профессора спасло мне жизнь. Но всем известно, что благодарность — крайне нестойкое качество человеческой натуры... разумеется, я говорю это не для оправдания.

Профессор был прав: уставал я в институте порядочно. Лекции стоили мне значительно большего труда, чем я вначале предполагал. И не только потому, что материал по основам машинной логики был нов и не было проверенной методики его преподавания. Это бы еще ничего.

Главная трудность проявилась в другом.

Единственным учебным пособием для студентов по моей дисциплине оказалась книга Аркадия Ненашева — бывшего доцента Института Проблемной Физики. Я говорю: бывшего, потому что он уже там не работал, а перевелся в Институт Нейрофизики. Мне рассказывали, что Ненашев вел весьма интересное исследование биотоков мозга. Ничего удивительного в том я не находил, хотя Ненашев был кибернетик — мозг тоже можно рассматривать как счетно-анализирующую машину, созданную с высокой степенью совершенства.

Мы с Ненашевым вместе закончили институт. Только я по окончании поехал в Камбоджу, на практическую работу, даже не совсем по специальности. Ненашев остался в аспирантуре. Когда я вернулся, он уже успел написать упомянутый учебник и защитить по нему диссертацию. Кибернетик он был способный, и учебник у него получился весьма солидный, доводы выглядели убедительно... если статья на позицию автора,

Декан института рекомендовал мне в лекциях придерживаться материала и тезисов данного учебника.

Вот с этим-то я согласиться не мог.

Чтобы быть верно понятым, мне придется рассказать о Ненашеве подробнее.

Друзьями мы не были: у Ненашева, насколько я знаю, вообще не имелось друзей, он был слишком рационален и расчетлив для этого. Волею случая я оказался его соседом в комнате институтского общежития. Поговорить он любил, слушать его было интересно. Вот только его принципы, вернее, полная беспринципность в науке часто меня возмущала, и тогда мы свирепо и запальчиво спорили.

Ненашев рассуждал примерно так:

— Не дело ученого решать моральные проблемы. Его не хватит на все. Его дело — поиск. Он ищет новое, делает открытие. А люди потом пусть сами разбираются: гуманно его открытие или нет. Это занятие философа или писателя.

Я возражал:

— Мы столько натворили на планете, и все с позиции науки и прогресса, что порой уже и сами недовольны результатами своей лихорадочной деятельности. Я не противник поиска, конечно, человек не может стоять на месте, он всегда идет вперед, ищет новое, повинаясь извечной потребности своего ума. Но современному человеку уже мало быть умным. Ему пора стать мудрым. Особенно, если он ученый и работает на переднем крае науки. Настоящий ученый сейчас обязан быть гуманистом.

— Никто пока не может объяснить, — толковал Ненашев, — в чем смысл существования человечества, этой мыслящей плесени на поверхности глиняного шарика, — он любил громкую фразу, — плесени, которая появилась неведомо когда и живет неизвестно для чего. Гуманитарные науки всегда оперируют здесь весьма условными неубедительными понятиями.

— Твоими словами, — возражал я, — можно оправдать ученых, которые в зарубежных лабораториях ищут новые вредоносные бактерии для войны, вместо того, чтобы уничтожать существующих.

— Что ж, — соглашался Ненашев, — вывести новую бактерию — это уже научный подвиг, если оставить в стороне моральные проблемы. Но ученый не виноват, что мир так неустроен и любое изобретение можно использовать и на благо и во вред.



— Но ученый обязан об этом помнить, — настаивал я. — Нельзя, чтобы его любознательность открыла ящик Пандоры. Когда народы мира составят дружную семью, всякое открытие будет только на благо. Пока мир напоминает бочку с порохом, ученый не должен изобретать спичку.

— А что он должен делать? — спрашивал Ненашев. — Работать дворником?

— Изобретать огнетушитель, — говорил я.

Если в спорах и рождается истина, то обычно ее никогда не замечают в азарте полемики. Разгорячившись, Ненашев начинал язвить, я — грубить. После этого мы не разговаривали по нескольку дней. Это явилось причиной нашего взаимного охлаждения, Ненашев стал мне совсем неприятен, вероятно, я ему тоже, и каждый из нас нашел себе другого соседа.

В своем учебнике по машинной логике Ненашев проводил ту же идею, если можно так сказать — «неморальности» научного поиска. Я же считал, что есть задачи, решение которых нельзя доверять машине (а к слову сказать, и Ненашеву). Поэтому в своих лекциях я пытался внести поправки к материалу учебника. Кое у кого из членов Ученого Совета это вызвало недовольство: там были сторонники «ненашевской» теории. Да и студентам не очень нравились мои конспекты: им не хватало художественного блеска ненашевских заключений.

Но я не сдавался.

Днем читал лекции, ночами их готовил. На сон и отдых времени оставалось мало. Я стал принимать нейростимуляторы. Таким образом, уверенно двигался к своей катастрофе. Предугадать ее было нетрудно, стоило только немножко поразмыслить над тем, что же я делаю.

Глупо, конечно. Я читал лекции о том, как научить думать машину, и не сумел подумать о себе...

В больнице я пролежал четыре месяца. Точнее — сто двадцать два дня. Левая рука оказалась полупарализованной, потребовалось длительное лечение электродами и массажем, пока она не начала как следует двигаться. Некоторая скованность в ней осталась.

Тем временем наступила весна.

На столике у моей кровати появились букетики полевых цветов. Цветы приносили студентки, нередко навещавшие меня; жена приносила обычно консервированные ягоды, ранние фрукты — витамины.

Когда я вошел в кабинет главного врача, профессор стоял возле открытого окна и с видимым удовольствием разглядывал старый тополь, раскинувший свои корявые ветви, покрытые молодыми, только что распустившимися листочками.

Профессор обернулся ко мне и кивнул за окно:  
— Хорошо?

Он ожидал подтверждения. На мой взгляд, там было сыро, холодно — и только.

Я промолчал.

Профессор отошел от окна, предложил мне сесть и сел сам. Быстро перелистал историю болезни — возможно, мою, я не разглядел — и небрежно толкнул ее на угол стола.

— Мы решили вас выписать, — сказал он. — Хотя вы и не вполне здоровы, но наша помощь вам уже не нужна. Медицина, как говорят, исчерпала все возможности. Клиника сделала, что могла. Признайтесь, вам уже у нас надоело?

Я признался.

— Вот-вот. Я и сам вижу, что надоело. Конечно, вам нужно продолжать лечение, только не у нас. Вашей нервной системе требуются естественные стимуляторы. Мы вас выпишем, а вы уезжайте из города.

— В санаторий?

— Нет, санаторий я бы не советовал. Там слишком шумно. Много народа, общество, споры-разговоры, шахматы. Преферанс, чего доброго. Поезжайте в деревню. В любую деревню, лишь бы там было много солнца, воздуха и тишины. И никакой науки. Это самое главное. Умственная работа вам абсолютно противопоказана. Спиртные напитки для вас тоже яд, но рюмка водки вам повредит меньше, чем хорошая задача по математике. Запомните?

— Это надолго?

— Ну, полгода, год — в зависимости от того, как будет восстанавливаться ваша нервная система. Вы, кажется, были преподавателем?

— Да, был,— ответил я.— Кажется, был.

— Ну-ну! Не нужно так. Вы еще успеете стать профессором, воспитаєте себе достойную смену... Все это у вас будет. Но будет потом. А пока: «...цветы, любовь, деревня, праздность!.. и far niente ваш закон...» — довольно бойко процитировал профессор.— Вы парное молоко пьете?

— Сроду не пил,— сказал я.

— Вот как?.. Но вы попробуйте, может, понравится. Для меня парное молоко лучше шампанского... А грибы собирать любите?

— Терпеть не могу.

— Весьма жаль. Такое хорошее занятие. Грузди — например. Груздь найти, знаете, не просто. Дедукция нужна, да! Идешь, смотришь: под сосной хвоя как будто ровная, только хвоинки чуть встопорщились, и уже чувствуешь: есть! Ковырнешь, а они там... рядышком, желтоватые чуть, знаете, как старинная слоновая кость...

Я с трудом сдержал зевоту.

— Так... — оборвал профессор.— Значит, мы вас выписываем. Вы телефон, на всякий случай, мне оставьте.

— Домашний?

— Конечно. Зачем мне служебный.

Я почувствовал какой-то подвох. Но, в конце концов, профессор мог найти номер телефона в справочнике.

За все время моей «взрослой» жизни я ни разу не отдыхал «на природе». Привык к услугам коммунального комфорта, и жизнь без ванной представлялась мне несчастьем. Поэтому, вопреки желанию профессора, я все же поехал бы отдыхать куда-нибудь в приморский городок. Снял бы комнату с видом на море. Конечно, с ванной и телевизором... Но я недооценивал профессора. Он позвонил моей жене.

Жена редко вмешивалась в мои дела. Но если вмешивалась, то я молча подчинялся. Так было много легче...

Поселок назывался не то Сосновка, не то Пихтовка, а может быть Осиновка — ему одинаково подошло

бы любое из этих названий. В лесной глуши, за полтысячи километров от города. Попастъ туда можно было, только используя все виды транспорта, от самолета до попутной автомашины. Кто-то из знакомых моей общительной жены имел знакомых в этом поселке. Все остальное уже не составило проблемы.

В поселке находилось десятка три бревенчатых домиков плюс одна птицеферма, которая и объясняла его существование на свете.

Понятно, ни ванн, ни унитазов в поселке в помине не было. Деревянная будочка во дворе напоминала фиговый листок... Водопровода тоже не было. Зато рекомендованное профессором имелось, на мой взгляд, даже с избытком.

Вот электричество было, высоковольтная линия проходила неподалеку от поселка.

Квадратную избу дощатая переборка делила пополам. В одной половине поместился я, в другой моя хозяйка — женщина средних лет и кубического телосложения. Имя у нее было длинное: Олимпиада Феоктистовна. Впрочем, она не возражала, когда ее называли просто Липой. Работала Липа на птицеферме и на своем огороде, занята была целыми днями, уходила, когда я спал, и возвращалась, когда я читал в постели перед сном. Был у нее муж — крупный, под стать ей, мужчина; не то егерь, не то лесник — он мне говорил, но я толком не понял, — словом, имел отношение и к лесу, и к охоте. Над их кроватью так и висела старая, очевидно, отслужившая двустволка, но сам ее хозяин жил где-то на кордоне и дома ночевал раз-два в неделю.

С утра я уходил в лес. Собирал на опушках землянику, если попадала, и тут же отправлял ее в рот. Когда не очень одолевали комары, усаживался на подходящий пенек и читал сколько мог.

В середине дня, накормив свою куриную семью, Липа забегала домой и кормила меня. Питались мы, в основном, «а ля натюрель» — яйца, сметана, молоко, овощи с огорода, свежий мед — меня это вполне устраивало: следуя совету Остапа Бендера, я не делал из еды культа.

Духовную пищу, по мере надобности, я покупал в местном ларьке, где наряду с мылом, сахаром, спичками и прочими предметами бакалеи и ширпотреба

имелись и книжки. Продавщица, кокетливая бойкая блондиночка — что-то потемнее платины и посветлее соломы, раз в неделю привозила из районного села периодическую литературу, какая попадалась ей под руку. Я читал все подряд... Продавщицу звали Санечка — меня никто с ней не знакомил, просто я слышал, что ее так зовут.

Так я и жил, без ванной, без свежих газет, даже без отрывного календаря, не зная, какое сегодня число и какой завтра наступит день.

Могло ли мне прийти в голову, что именно здесь, в этом, обойденном стремительным бегом времени, поселке, где отроду ничего не случалось, да и не могло случиться, я стану свидетелем самой невероятной истории, точку в которой, по всем правилам чеховской драматургии, поставит старая двустволка лесника...

Как многие значительные события, все началось с мелкого случайного факта: нам почему-то не принесли молока.

Липа торопилась к своим курам и попросила меня самого сходить за молоком. Это недалеко, объяснила она, последняя изба по улице, а фамилия хозяина коровы — Ненашев. Липа подала мне алюминиевый бидончик; мне показалось, она хотела что-то сказать, но не сказала и ушла. А я усмехнулся тому, что меня и здесь не оставляет фамилия, которой я был обязан в институте многими неприятностями.

Старый бревенчатый домишко стоял в стороне у поселка, у самого леса. Из-под позеленевшей дощатой крыши, как из-под нахлобученной шапки, выглядывали маленькие, словно прищурившиеся окошечки. Перед окошками росла корявая растрепанная черемуха.

При некотором воображении можно было представить, что именно в таком домишке могла жить баба-яга. Или Кащей Бессмертный. А может быть, и Соловей-разбойник. Хотя Кащей Бессмертный жил во дворце, а Соловей-разбойник в дупле старого дуба и, следовательно, был не сибирского происхождения.

Домишко принадлежал к миру легенд. Но и я, в свою очередь, был легендой для того мира. На мне костюм из синтетики,— Кащей Бессмертный не смог бы

купить его ни за какие свои сокровища. Мой алюминиевый бидончик для бабы-яги оказался бы большим чудом, нежели для меня ее летающая ступа. Я разглядывал домишко, который, казалось, не мог существовать в мире, где есть полупроводники, атомные станции, телевизоры, и ощущал какое-то непонятное беспокойство.

Алюминиевый бидончик в руках, наконец, вернул меня к ощущению реального — я же пришел за молоком. Я подошел к калитке, толкнул ее. Она не открылась.

Я постучал. Мне никто не ответил.

На калитке не было ни ручки, ни какого-либо затвора. Из дырочки в доске торчал засаленный кончик ремешка. Я потянул за него неуверенно. Что-то лязгнуло, калитка приоткрылась.

Я шагнул в ограду и остановился.

Под навесом возле крыльца, которое вело к дверям домика, стояла здоровенная корова, белая с рыжими пятнами. Пережевывая жвачку, она смотрела в мою сторону, наклонив вперед большие лирообразные рога.

Рога были отличные, с черными острыми концами. Я попятился за калитку.

Корова перестала жевать и миролюбиво качнула головой, как бы приглашая меня войти. Я сроду не имел дела с коровами; за последние двадцать лет встречался с ними только на экранах телевизора и кино. Однако некоторые сцены из жизни испанских тореро мне запомнились, правда, там действовали быки, а не коровы.

Но кто их знает...

Подойти к крыльцу я не решился и сказал громко: — Хозяева дома?

В доме было тихо. Корова странно замотала головой, как бы отгоняя мух.

— Есть кто-нибудь?

Корова опять покачала головой. Я пригляделся к ней.

— Значит, хозяина дома нет?

Корова утвердительно мыкнула коротко, что-то вроде: «н-ну!».

Мне уже не трудно было вообразить, что она сказала «нет!» Я хотел было спросить, где же ее хозяин,

но тут до меня наконец дошло, что я веду себя по-идиотски.

— Так-так... — пробормотал я. — Значит, нет...

— Н-ну! Н-ну! — подтвердила корова.

Я выскользнул в ворота, захлопнул за собой калитку. Некоторое время отупело разглядывал кончик ремешка, торчавший из дырочки в доске. Потом машинально приподнял крышку бидончика, ожидая увидеть там молоко: окаянная корова вышибла меня из проторенной колеи реального восприятия окружающего. Мне захотелось открыть калитку и заглянуть в ограду.

Может быть, коровы там и не было?..

Тут я услышал тяжелые размеренные шаги. Они приблизились к калитке. Затем до меня донесся глубокий шумный вздох. Я переложил проволочную дужку бидона из одной руки в другую, достал платок и вытер вспотевшую ладонь.

И тут услышал свое имя.

Я вздрогнул.

Уставился на калитку. Повернулся резко.. и уперся взглядом в Ненашева.

Пожалуй, было бы менее удивительным встретить здесь Кашея Бессмертного — о нем я хоть думал только что.

Я молча разглядывал Ненашева: зеленые насмешливые глаза, неправильный рот, нос чуть приплюснутый — в молодости Ненашев занимался боксом, спутать его лицо с другим было невозможно, оно запомнилось сразу и навечно.

Одет он был в вельветовый пиджак, мятые брюки. В руках держал сетку с двумя булками хлеба, черного ржаного хлеба из ларька.

— Ты что, ты меня не узнаешь? — спросил он.

Уверен, нам никогда не удастся так запрограммировать думающую машину, чтобы она сравнялась с человеческим мозгом по способности обобщать столько далеких по смыслу явлений и ассоциаций. Эта странная корова, присутствие Ненашева, его последнее увлечение нейрофизикой — все это мгновенно суммировалось в аналитической цепи моего мозга. Догадка родилась, перевести ее в связную мысль было только вопросом времени..

— Аркадий? — сказал я.

Он опустил сетку с хлебом прямо на землю, обнял меня. Ответить ему тем же мне помешал бидон.

— Ты ко мне? — спросил Ненашев и увидел бидончик. — Заходил?

Сетка с хлебом лежала у его ног, я поднял ее.

— Хлеб бросил...

— Ничего, это Машке, — он взял у меня сетку, шагнул к воротам. — Проходи!

Корова встретила нас у калитки. Она подняла морду и улыбнулась Ненашеву. Именно, улыбнулась — выражение ее глаз было таковым. И улыбка не показалась мне ни уродливой, ни карикатурной... Вспомните, как у Тургенева улыбаются собаки...

— Машка, — сказал Ненашев. — Познакомься. Это мой друг.

Машка взглянула на меня приветливо и сказала свое «Н-ну!», что могло означать: «Очень приятно, мы уже встречались!»

Ненашев так ее и понял.

— Вы уже разговаривали?

Я сделал неопределенный жест. Машка утвердительно качнула головой. Потом сильно раздула ноздри, втянула воздух и подвинулась к сумке с хлебом. Ненашев отломил горбушку, Машка ловко захватила ее языком и зажевала причмокивая. Ненашев пошлепал ее... я не знаю как это называется у коровы, у человека это щeka. Потом он почесал у нее под челюстью. Машка перестала жевать, вытянула шею и блаженно зажмурилась.

— Любит, подлая!

Он легонько щелкнул Машку по носу и тут же вытер руку о штаны.

— Как она тебе нравится? — и добавил тихо: — Говори по-английски, она не поймет.

Я не знал, что ответить и по-английски. Я уже нашел словесное определение своей догадке, только не мог ему поверить. Машка перестала жевать, в ее глазах появилось выражение задумчивости, она переступила задними ногами...

— Машка!.. — выразительно произнес Ненашев.

Он усмехнулся. Машка зажмурилась — мне хочется сказать: сконфузилась — и побрела куда-то за загородку.



Ненашев поглядел на меня, расхохотался весело и похлопал по плечу.

— Догадываешься?.. Пойдем, присядем на крыльце, расскажу.

Я вернулся от Ненашева поздно вечером.

Липе сказал, что молоко будем брать в другом месте. Конечно, я не объяснил причины, и мое решение могло показаться странным. Но Липа, вероятно, подумала, что я слишком хорошо отметил встречу с приятелем — в ее понятии странные поступки могли делать только пьяные люди, — она не стала меня расспрашивать.

Ночью я долго не мог уснуть. Лежал и думал о Машке и о Ненашеве, и о его открытии, дьявольски остроумном... и опасном, как изобретение пороха.

Разумеется, мне было известно, как нейробиологи сумели проникнуть в тайны рождения эмоций. Электрические импульсы, точно нацеленные на определенные участки мозга, вызывали у подопытного животного ощущения радости, страха, наслаждения. Но все это были детские игрушки..

Ненашев научил корову думать и говорить.

...Свой аппарат он назвал энцефалограф-дешифратор условных рефлексов — название тоже весьма условное. Назначение аппарата было куда более сложным.

В нейробионике я разбирался весьма посредственно, поэтому попросил Ненашева придерживаться в своих объяснениях популярной формы изложения. Насколько я понял, главную деталью аппарата являлся приемник-генератор модулированных волн. Посредством его можно было не только записывать токи мозга, но и подать обратно в мозг соответствующим образом составленную энцефалограмму, и в сознании возникнут зрительный образ, стремление к действию или отвлеченная мысль.

Аппарат Ненашев построил еще в Институте Нейробионики. Первые опыты проводил строго конспиративно.

Никто не ведал, чем он занимался за дверями своей лаборатории, всегда закрытыми на ключ.

Пробудить в мозгу животного способность связно оперировать условными понятиями — научить его думать — значило поставить это животное на ту же ступеньку общественной лестницы, на которой стоит человек, независимо от того, кто он — лауреат Нобелевской премии или новогвинейский абориген, еще пользующийся каменным топором. Машка, получив разум, должна была получить человеческие права. Ненашев не зря опасался, что сотрудники института могут возбудить общественное мнение и ему, Ненашеву, запретят заниматься рискованными экспериментами над разумом.

Если бы это зависело от меня, я бы запретил...

— Поэтому я и забрался в такую глушь, — рассказывал Ненашев. — Числюсь ветеринаром — все же в медицинском институте работал — принимаю роды у коров, лечу кур на птицеферме. В свободное время занимаюсь научными исследованиями. Какими? Никто меня не спрашивает. А если и спросят, найду, что ответить.

Ненашев был откровенен. Он понимал, что я безопасный слушатель и не смогу ему помешать. Да и поздно было чему-либо мешать...

— Когда я сюда приехал, колхоз выделил мне корову. Для молока, разумеется. Но именно Машка подошла для опытов как нельзя более. У нее спокойный характер, отлично сбалансированная нервная система, не склонная к неврозам, и хорошие тормоза. Это очень важно — хорошие тормоза, — у Машки могут возникнуть всяческие нежелательные эмоции.

Он так и назвал их: «нежелательные эмоции» — те чисто человеческие чувства отчаяния, безнадежности, которые неминуемо появятся у Машки, когда она начнет понимать, что она такое есть и что ее ждет в будущем. Примерно те же самые «эмоции» появились бы у Ненашева, если бы он каким-то злым чудом вдруг получил рога, копыта и хвост и, превратившись в корову, понял бы, что отныне его место в колхозном стаде, что хотя он продолжает думать как человек, но мир человеческих радостей для него потерян навсегда.

— Кроме всего, — продолжал Ненашев, — у Машки на рогах удобно крепился мой аппарат. По конструк-

тивными особенностям он должен находиться непосредственно возле головы, игольчатые электроды вкалываются в кожу...

Здесь он опять забрался в дебри нейробионики. Я его не перебивал; не разбираясь в деталях, я все же понял основное.

Ненашеву удалось выделить и записать на своем дешифраторе элементарные биотоки, которые вызывают в Машкином мозгу элементарные образы. Пользуясь такими элементами, как азбукой, он остроумно составил целые фразы, записал их на микропленке и через передатчик дешифратора посылал Машке обратно в мозг.

— Ты представить себе не можешь, какая это оказалась нудная, кропотливая работа. День за днем я штурмовал Машкино сознание и не получал ответа. Казалось, я стучусь в дом, где никого нет и некому открыть мне дверь. Уже собирался все бросить к чертям собачьим, отдать Машку обратно в колхозное стадо...

Я подумал, как было бы хорошо для Машки вернуться в свой бездумный мир и безмятежно по вечерам пережевывать свою жвачку.

— Но трудно оказалось освоить только первую фразу. Потом процесс познания пошел лавинообразно. Память у Машки оказалась великолепной, она все запоминала с первого раза...

Машка вышла из-за перегородки и стояла в отдалении, прислушиваясь к нашему разговору. Кажется, ей очень хотелось подойти к нам, но она не решалась. Может быть, боялась нам помешать?

Ненашев наконец заметил ее и оборвал свои объяснения.

— Хватит теории! Машка, покажи сама, что ты можешь. Пригласи гостя к себе.

Машка радостно «нукнула», закивала головой и направилась к бревенчатому сарайчику под навесом, рядом с крыльцом.

Перед дверями лежал щетинистый коврик. Прежде чем войти, Машка вытерла ноги, точнее говоря — копыта. Она вытирала их по очереди, все четыре копыта, и на это стоило посмотреть.

В сарайчике пахло травой и молоком. Было чисто,

Машка выполняла основные правила гигиены, как это делает, скажем, собака. Возле дверей стояла простая сосновая табуретка,— вероятно, для Ненашева. В углу лежал соломенный плетеный матрас, на котором, должно быть, спала Машка. В решетчатых яслях лежала охапка травы.

В углу над яслями висел тихо бормочущий динамик. Я прислушался: передавали последние известия.

Ненашев опять ухмыльнулся.

— Машка слушает,— сказал он. — Очень любит. Особенно детские передачи. Более сложные вещи вызывают у нее много вопросов, и мне надоедает их разъяснять.

— Ты ее понимаешь?

— Конечно. Она умеет говорить.

Я уже перестал удивляться.

— Она весьма связно выражает простые мысли,— продолжал Ненашев. — Произносить слова не может, в русском языке слишком много согласных и шипящих. Легче было бы обучать ее не русскому, а, скажем, полинезийскому языку — там почти одни гласные. Поэтому я пристроил к дешифратору ларингофон.

На полке у входа — я ее не заметил вначале, — стоял аппарат, очень похожий на переносный радиоприемник. Ненашев обхватил мощную шею Машки длинной дужкой ларингофона. Я невольно вздрогнул, когда услышал монотонный «машинный» голос дешифратора:

— Здравствуйте! — Машка смотрела на меня. — Меня зовут Машка.

— Очень приятно,— сказал я.

— Как зовут вас?

Я ответил.

— Почему я не видела вас раньше?

Я объяснил.

— Теперь вы будете к нам приходить?

Я сказал, что буду.

— Вы будете со мной разговаривать? Мне здесь так скучно...

— Машка! — перебил Ненашев. — Опять ты с жалобами. Расскажи, что ты сегодня слушала утром по радио?

— Я не хочу.

— Не капризничай...

— Мне надоело радио. Мне надоели детские передачи. Я хочу смотреть кино. Почему ты не пускаешь меня в клуб?

— Тебе нельзя в клуб, глупая.

— А я хочу...

Ненашев поморщился и выключил дешифратор.

Динамик замолк. Слышно было жалобное помыкивание Машки. Я уже не понимал, что она говорила. Она смотрела на Ненашева, должно быть, на что-то жаловалась, в ее глазах стояла человеческая тоска.

Я повернулся, резко толкнул дверь и вышел в ограду.

Ненашев продолжал что-то выговаривать Машке, она только тихо помыкивала в ответ: н-ну!.. н-ну!.. Потом замолчала.

Бидон мой остался в сарайчике. Я не стал за ним возвращаться.

Я уже не смог бы пить Машкино молоко.

Бидон вынес Ненашев.

Мне хотелось увидеть на его лице хотя бы тени тех мыслей, которые волновали меня.

Ненашев поставил бидон на крыльцо.

— За молоком позже зайдешь,— сказал он.— Машка сегодня еще не доилась. Доярку выгнала, рогом ее ударила, подлая коровенка. Доярка, разумеется, ни о чем не догадывается, дешифратор при посторонних я не включаю.

— Чего же Машка ее выгнала?

— Говорит, что ей противно, когда ее доят. Видал такую дуру!.. Отойдем-ка в сторону, а то еще услышит... Обидчивая стала, просто до глупости. Я ей объясняю: хотя ты и думать научилась, а все же осталась коровой, какой была. И организм, говорю, у тебя работает по-коровьи: если доиться не будешь, то заболеешь. Мастит, говорю, будет. Воспаление молочной железы. Кое-как успокоил.

— Все-таки, успокоил.

— А что мне оставалось делать. Устал я с ней. Вот не думал, что у коровы вместе с разумом появится столько капризов всяких. Право, она была разумнее, когда у нее совсем ума не было.

— Что ты думаешь делать дальше? — спросил я.

— Кончать эту канитель. Повезу Машку в город. Как экспонат.

— Как экспонат?..

— Конечно. Представлю Научному Совету по защите диссертаций. Доказательство моей работы. Я же всю современную нейрофизику двинул на полста лет вперед. Согласен?

— Согласен.

— То-то вот... Да я Нобелевскую премию получу, вот увидишь.

— Весьма возможно,— опять согласился я.— Если повезет. Я бы лично тебе ее не дал.

— Ты же всегда был консерватором.

— А что будет с Машкой?

— Как что?

— Я спрашиваю: что будет с коровой, которая может думать как человек, но не имеет человеческих прав. Куда ты денешь Машку, когда получишь все свои премии и звания? Сдашь ее на мясокомбинат?

— Что ты, такую корову — и на мясокомбинат!

Только Ненашев мог понять меня буквально.

— А все-таки?

— Ну... Я еще не думал. Отправлю ее в зоосад.

— В зоосад принимают только животных.

— Ах, ты опять про это.

— Да, опять про это.

— Тогда выстроим Машке отдельный павильон, она того заслуживает. Самая знаменитая корова в мире, подумай! Журналисты будут брать у нее интервью. Будут снимать в кино.

— А Машке это понравится?

— А чего ее спрашивать. Вот еще новости.

Мне вдруг захотелось ударить Ненашева. Ничего не говоря, не объясняя. Сильно ударить, чтобы ему стало больно... очень больно!.. Я заложил руки за спину и поднял лицо к вечернему небу. Я не мог смотреть на Ненашева.

— Ты чего? — спросил он.

— Нет... я так, ничего... Я только хочу спросить: неужели ты до сих пор не понимаешь, что с желанием Машки нужно считаться, что она уже не корова.

— Опять!.. Тогда что же она такое? Человек?

— Не человек, но существо, наделенное разумом,

поэтому и не животное, в прямом понимании слова. И не важно, что у нее рога и копыта и внешний облик так отличен от человеческого. У нее — разум! Она думает, как человек. И по всем законам требует к себе такого же отношения и внимания, как к человеку... Ты не боишься, что тебя можно отдать под суд?

Ненашев стал серьезным.

— Ну-ну! Не нужно так громко. — Он помолчал, поглядывая на меня исподлобья. — Знаешь, я, признаться, уже думал об этом. Ну, об юридической ответственности, что ли, говоря твоим языком. У меня есть документ, в котором подписью и печатью удостоверяется, что вместе с избой и надворными постройками, с усадьбой в пять сотых гектара мне принадлежит также корова белая, с рыжими пятнами, по кличке «Машка». По всем существующим законам я являюсь хозяином этой коровы и волен использовать ее, как мне заблагорассудится. Могу ее доить, могу заколоть на мясо. Тем более, могу провести над ней опыты, во имя науки. Вот и вся моя юридическая ответственность. Я закона не нарушил, и судить меня не за что. Во всяком случае, пока не за что.

Ненашев, как это он делал и раньше, бил мои эмоции логикой, я, не находя нужных аргументов, как обычно, начал злиться и, вероятно, наговорил бы грубостей... меня остановило — выражаясь языком старинных романов — появление третьего, а если считать и Машку — четвертого лица. Калитка осторожно приоткрылась, и в ограду заглянула продавщица Санечка.

Она тоже вошла не сразу — Машкины рога произвели впечатление не только на меня.

— Входите, входите! — закричал Ненашев.

Обычно я видел Санечку в белом халате; сейчас на ней было платье на ляпочках, модное, то есть похожее на ночную рубашку, — светлые туфли на «гвоздиках»; право, она выглядела сейчас не плохо — рассуждая по-современному (мой вкус был всегда несколько консервативным, особенно в отношении женских нарядов; жена говорила, что я старомоден до неприличия).

На плече Санечки висела пластмассовая — тоже модная — сумка, размером с небольшой чемодан.

Ненашев собирался было меня представить, но Са-

нечка сказала, что мы уже знакомы, и мне оставалось только подтвердить это. Затем она открыла сумку и вытащила из нее бумажный кулек.

— Ваше печенье,— сказала она Ненашеву. — Забыли у меня. Хлеб взяли, а печенье забыли.

— Ах, да! Вот растяпа! — Право, не стоило беспокоиться.

— Какое же беспокойство, занесла по пути.

— Все равно, спасибо за заботу. Что бы я тут делал без вас.

Ненашев улыбался прозрачно. Я дожидался подходящего момента, чтобы уйти.

— Кому-то нужно о вас заботиться,— кокетничала Санечка. — Мужчина одинокий, занятый вечно, когда ему о себе подумать. Корова еще, возни сколько с ней: поить, кормить. Убирать, опять же. Хорошо хоть доярку нашли. Не понимаю только, чего вы Машку дома держите?

— Куда же я ее?

— Выгоняли бы утром. Вместе со всеми коровами, в стадо.

— Отвыкла она у меня от коровьего общества.

— Привыкнет.

— Смотреть за ней нужно. Она у меня особенная.

— Ничего, пастух присмотрит. В стаде ей даже лучше будет.

— Чем же лучше?

— Так уж не понимаете... Теленочек у вас будет.

— Теленочек?.. — Ненашев вдруг перестал улыбаться. — Хм, теленочек...

Аналитическое устройство в голове Ненашева работало быстрее моего. Он посмотрел на меня задумчиво.

— А ведь это идея,— сказал он.

Я ничего не успел сказать.

— Н-ну! — услышали мы рядом.

Машка выбралась из своего сарайчика — она сама могла открывать дверь. Вероятно, она слышала и поняла разговор и сейчас стояла перед нами, выставив вперед рога.

— Ах! — Санечка спряталась за Ненашева.

— Ты чего, Машка? — спросил Ненашев.

— Н-ну! — и Машка замотала головой.



— Не хочет идти в стадо,— улыбнулся Ненашев. Даже если бы он говорил серьезно, Санечка все равно не догадалась бы ни о чем.

— Боюсь я ее,— сказала Санечка.

— Иди к себе, Машка,— приказал Ненашев.

Он легонько шлепнул ее. Машка упрямо мотнула головой.

— Это что такое? Пошла прочь!

Он размахнулся и на этот раз ударил бы сильно, но я успел удержать его руку. Машка моргнула растерянно. Потом медленно повернулась, неуклюже, по-коровьи — заходя передними ногами и переступая задними — понуро побрела в свой сарайчик. В дверях оглянулась — она еще надеялась на сочувствие.

— Иди, иди! — крикнул Ненашев.

Дверь закрылась.

— Просто цирк какой-то! — сказала Санечка.

Ненашев вопросительно уставился на меня.

— Теленочек, а?

И он усмехнулся.

Я не принял его всерьез. Только потому, что смотрел на Машку другими глазами, нежели он. Это была моя ошибка.

Мне бы догадаться об этом...

Я не догадался. Я простился с Ненашевым и Санечкой и пошел домой. Бидон так и остался на крыльце...

Утром проснулся с головной болью.

Я знал, что пройдет она не скоро, что нужно успокоиться, приглушить вчерашние впечатления. Целый день я бродил по лесу. Пробовал собирать грибы. Неожиданно это занятие мне понравилось: оно отвлекало от размышлений. Я набрал целую корзинку. И, мне на удивление, все грибы оказались съедобными. Липа приготовила отменную солянку.

Вечером я спохватился, что мне нечего читать, и поспешил в ларек. Санечка уже собиралась уходить, но, заметив меня, любезно открыла двери и пригласила войти. На прилавке стояла сумка, битком набитая. Торчало горлышко коньячной бутылки.

— У подружки день рождения,— объяснила Санечка.

Я пожелал Санечке и ее подруге хорошо провести время. Собрал все журналы, какие были, предложил помочь донести тяжелую сумку. Санечка отказалась от услуги, я не стал настаивать — меня это вполне устраивало — и отправился домой.

Липа ушла к соседке, я читал в постели до поздней ночи, потом погасил свет, пытался уснуть. Мне почти удалось, но тут пришла Липа, дверь скрипнула, и я опять принялся за чтение. Последние месяцы я приучил себя обходиться без снотворного, было досадно, что впечатления прошедшего дня — пусть даже необычные — так сразу выбили эту привычку. Принимать порошки не хотелось, оставалось одно средство: прогулка по сонной улице поселка, глубокое дыхание, свежий воздух и так далее.

Я откинул одеяло.

Здоровенная луна бесцеремонно уставилась на меня через окошко. В березовой роще за поселком — там сейчас, вероятно, было по-особенному светло — во всю мочь заливалась гармошка. Временами ей вторил девичий дискант, я слышал голос, но не разбирал слов.

Одевшись, я открыл дверь в комнату моей хозяйки. Липа, конечно, уже спала. Лунный свет голубым ковриком лежал возле ее кровати. Я прошел к дверям на цыпочках, хотя, вероятно, предосторожности были излишни, мимо спящей Липы можно было проехать на тяжелом танке.

На улице гармонике было слышно лучше:

Я иду, иду, иду,  
Собаки лают на беду!..

Я пошел в сторону, противоположную той, куда звала гармошка.

Одинокая собака лениво твякнула из темноты. Огни везде были погашены. Короткая улица поселка уперлась в лес. Под соснами притаилась неприятная ночная мгла. Я остановился на углу.

Домик Ненашева на противоположной стороне улицы был освещен луной и походил на старообрядческий скит.

Что там сейчас делает Машка?

Может быть, спит на своем соломенном матрасике. Или тоже мучится бессонницей, как я. И причин

для этого у нее было несравнимо больше, чем у меня. Бедная Машка...

Знакомо звякнула щеколда. В проеме открывшейся калитки появилась женская фигура в светлом платье, послышался приглушенный смешок, и женщина побежала через улицу.

Я запоздало шагнул в тень — и не успел.

Женщина остановилась, разглядывая меня. Я узнал Санечку-продащицу.

— Фу ты, господи... — сказала она, и на меня пахнуло коньяком. — Напугали как. Чего вы здесь бродите одни. Слышите, девки в роще поют, шли бы туда, что ли.

Я не нашелся, что ответить.

Санечка усмехнулась и оставила меня одного.

Какое мне было дело до амурных походов Ненашева!.. Я не спеша двинулся домой.

Гармошка уже утихомирилась. В комнате лунный свет завладел постелью моей хозяйки. Я прошел в свою комнату, стащил ботинки и лег.

«Бедная Машка!» — подумал я, засыпая.

Утром, естественно, я встал поздно. Когда вышел из своей комнаты, Липа уже успела вернуться от своих кур.

Она приготовила мне завтрак, поставила на стол горячую яичницу, свежее масло, сама присела у печки, поглядывая на меня, как мне показалось, сочувственно.

— Чего вы ночью бродили? — вдруг спросила она.

Вот тебе на!.. А я-то решил, что она ничего не слышала.

— Так, не спалось.

— Я уж подумала, может, вас с похмелья мутит. Хотела рассола с погреба принести, да вспомнила, что вы соленое не любите. Вот молочко свежее, кушайте.

Я взял стакан... и увидел на столе свой бидончик.

— Липа, вы были у Ненашева?

— А как же, была. Бидон-то мне нужен. Да вы не беспокойтесь, молоко я у соседки взяла. У нее корова хорошая. А от Машки я теперь и сама молоко в рот не возьму.

— Что там случилось, Липа?

Оказалось, Ненашев утром выгнал Машку в колхозное стадо. Он правильно рассчитал: на нее сразу же обратил внимание колхозный бык. Однако Машка так свирепо ответила коровьему Дон Жуану, что его с трудом отбили набежавшие колхозники. Сам пастух справиться с Машкой не смог, она просто сбила его с ног. Быка, а заодно и пастуха, спасли от серьезных увечий. Но шею быку Машка успела пропороть — пришлось накладывать швы.

— Он у нас красавец, — рассказывала Липа. — Вы его видели?

— Кого?

— Да быка, опять же.

— Не видел.

— Породистый. На выставке премию получил.

Меня не интересовал бык, даже породистый. Я спросил про Машку.

— Ненашев обратно домой забрал. Пастух от нее отказался, говорит, сроду такой коровы не видел, как есть бешеная. На мясокомбинат, говорит, ее нужно свести, а то от ее молока и заболеть недолго. А жалко корову, молоко уж больно хорошее. Ночь в банке постоит — сливок вот этакое...

Я уже подумывал послать телеграмму в Институт Нейробионики, чтобы сюда в колхоз срочно выслали инспектора. Ненашева нужно лишить прав на Машку, запретить ему эксперименты над существом с человеческим разумом. И в то же время у меня не было уверенности, что прибывший инспектор не будет еще большим фанатиком от нейробионики. Тогда он останется глухим к моральной стороне вопроса, и я окажу Машке — а возможно и человечеству — плохую услугу.

Мне не хотелось опережать события.

Нужно вначале узнать: что собирается делать сам Ненашев...

Я застал его за завтраком.

На столе стояли шпроты, хорошая колбаса, сыр — уже нетрудно было сообразить, кто это принес.

В литровой банке на столе было молоко. Машкино молоко!

Ненашев показался вначале несколько расстроенным, я уже было решил, что он отнесся сочувственно к такому активному протесту Машки... Что могло меня научить думать о нем так, как он того заслуживал?..

Ненашев пригласил к столу, я отказался. Подвинул стул к окну, задел случайно под столом пустую коньячную бутылку, она покатилась по полу. Я поставил ее обратно, к ножке стола.

Ненашев начал было рассказывать мне о событиях в колхозном стаде, я перебил его:

— Ты серьезно задумал это сделать?

— А что? — он даже удивился вопросу. — Нужно же проверить, перейдут ли к теленку Машкины способности. Черт возьми! Ты понимаешь, как это должно быть интересно!

— А Машка?

— Что — Машка?

— Она согласна на такой эксперимент?

Ненашев взглянул на меня, промолчал и полез вилок в коробку со шпротами. Он не торопясь сделал бутерброд, откусил.

— С быком, конечно, я сам виноват, — он вытер губы полотенцем и потянулся за банкой с молоком. — Тут нужно делать по-другому.

— Как это — по-другому?

Ненашев отхлебнул из банки, на губе осталась белая полоска... хорошее молоко, жирное!.. Я отвернулся и начал смотреть за окно на улицу. На дороге копались куры. В тени под забором лежала свинья, толстое брюхо ее было измазано навозом... Что подразумевал Ненашев под словами: «по-другому?»

— Она еще натворила, — сказал Ненашев. — Санечку чуть на рога не подняла. Хорошо, та успела на крыльцо заскочить, а Машка на ступеньках запнулась. Вот тут я ее и отлупил.

— Как — отлупил?

— Очень просто, палкой. Черешком от лопаты. Здорово вздул... Подлая коровенка!..

Я снова стал смотреть на улицу... Почтового отделения в поселке нет, нужно ехать в село, за пятнад-

цать километров. Почтовыми делами ведает здесь та же Санечка, по совместительству. Значит, телеграмму в Институт придется посылать самому... Что еще придумал Ненашев? Что-то плохое, иначе бы он мне рассказал...

Стукнула калитка. Ненашев выглянул в окно.

— А, черт! — сказал он.

На крыльце послышалось шарканье подошв о половинок, затем в дверь протиснулся колхозный пастух — я часто встречал его с коровами — красноносый старичок в брезентовом дождевике.

— Что опять? — спросил Ненашев.

— Плохо, — ответил пастух. — Повязку с шеи сорвал, кровь идет.

— Ладно. Приду сейчас.

Пастух вышел.

Я поднялся со стула.

— Ты извини, — сказал Ненашев. — Видишь, какая карусель. А к тебе у меня просьба. Если пожелаешь, конечно. Я сегодня Машку накормить не успел. Аппетита у нее не было с утра. Может быть, пройдешься с ней в лесок, на травку. Тебе все равно где гулять, а ее одну я выпускать не решаюсь. Сейчас — тем более. К тебе она хорошо относится. Даже спрашивала. Вот только поговорить тебе с ней не удастся. Дешифратор не работает, батареи сели. Санечка обещала сегодня вечером свежие привезти. Да вы и без дешифратора друг друга поймете. Коровам, говорят, тоже свойственно сентиментальное восприятие мира. Родство душ, а?

Без насмешек Ненашев не мог.

Он взял с вешалки халат, перекинул через плечо и вышел.

Это были его последние слова. Больше я его не слышал. И не видел.

Точнее, увидел еще раз... но лучше было бы тогда на него не смотреть.

Машка находилась под домашним арестом: дверь сарайчика была заложена березовой палкой. Черешком от лопаты. Я выдернул его, прикинул на руке и отбросил прочь.

Очевидно, она уже давно стояла вот так, против дверей, в злом напряженном ожидании, уставив вперед рога. Увидев меня, она попыталась улыбнуться, у нее не получилось. Тогда, каким-то несвойственным коровам движением, Машка по-собачьи сунулась носом мне между боком и локтем руки и стояла так некоторое время, закрыв глаза. Она вымазала мне весь пиджак. Конечно, я сделал вид, что ничего не заметил.

— Пойдем гулять, Машка!

Она согласно мотнула головой.

Я предложил ей самой выбирать дорогу. Она не пошла через калитку, вероятно не захотела показываться на улице, а направилась через огород, который выходил на опушку леса. Остановилась перед загородкой, оглянулась на меня. Я выдернул несколько жердей, Машка с трудом протиснулась, зацепилась за торчащий сучок, оставив на нем клочья шерсти, и направилась в лес.

Она шла напрямик, пересекая тропинки, через заросли молодых березок и елок с торчащими, как карандаши, верхушками. Миновала несколько полянок с хорошей — на мой взгляд — травой. Она не останавливалась, а только обернулась несколько раз на ходу, чтобы убедиться, что я от нее не отстаю.

Так мы прошагали километра два. Деревья расступились сразу, и мы оказались на берегу озера, с полкилометра диаметром и, видимо, глубокого, оно было темное посредине и прозрачное у берегов.

Машка спустилась к воде и начала пить.

Она пила долго, потом поднялась на берег, виновато посмотрела на меня и направилась за кусты.

Я присел на старую обугленную корягу, видимо, заброшенную сюда весенним разливом. В прозрачной воде гуляли стайки мелких рыбешек; кажется, их зовут гольянами — прожорливые, они выжили из озера карасей, съедая их икру; так мне рассказала Липа, когда я попросил ее достать рыбы к обеду.

Машка шумно дохнула у меня за спиной.

— Ты бы поела, Машка, — сказал я.

— Н-ну, — ответила Машка.

Плохо было без дешифратора. Хотя интонации Машкиного «нуканья» менялись, все равно я ничего понять не мог.

Разговора не получалось, но и молчать мне не хотелось тоже.

— Быка ты отделала, это я понимаю. А зачем ты на Санечку набросилась?

Выражение глаз у Машки стало знакомо недобрым.

— Н-ну! — сказала она.

И упрямо мотнула головой, как бы говоря, что не собирается ничего прощать. А мне не хотелось, чтобы Машка утвердилась в своем желании отомстить Санечке за ее так не во время поданный Ненашеву совет. Но что я мог ей сказать?

Я вздохнул. Оторвал от коряги кусочек коры, бросил его в воду. Гольяны брызгами кинулись в стороны, тут же вернулись и закружились вокруг коры, сверкая бронзовыми спинками.

Машка вдруг повернулась в сторону леса. Ее пушистые уши задвигались из стороны в сторону, как антенны локатора. Спустя некоторое время и я услышал шорох в лесной чаще. На опушке появилось десятка два коров.

Потом показался и знакомый пастух.

Коровы прошли к озеру пить. Пастух направился к нам.

Машка нервно запереступала ногами.

— Машка! — сказал я.

Она с шумом вздохнула, отошла в сторону, в кусты, сорвала веточку и зажевала, сердито потряхивая головой.

Пастух присел рядом со мной. Покосился на Машку. Она повернулась к нему задом. Мне хотелось, чтобы она отошла подальше, на всякий случай, но не хотелось говорить с ней при пастухе.

— Пасете, значит? — спросил пастух.

Я поинтересовался, как здоровье пострадавшего. Пастух ответил, что быку плохо.

— Подохнуть, правда, не подохнет, только поболееет долго. Чуток ему жилу не перервала. Скажи на милость, какая окаянная коровенка.

Я взглянул в сторону Машки. Уши ее были развернуты в нашу сторону, разумеется, она слышала все, что мы говорили.

Надо было переменить тему, но я не мог сообразить, как это сделать.



— Ловко она его,— продолжал пастух,— я и глазом повести не успел. Я ее кнутом, а она на меня. Рога-то у нее вон какие. Прижала меня возле поскотины. Хорошо, Митрохины на покос шли, видят — такое дело. Так, поверишь, кое-как управились. Как есть бешеная. В район ее нужно отправить.

— Что ей делать в районе?

— А там сейчас выбраковка идет. На мясо, значит.

— На мясо?

Я перестал следить за Машкой.

— На мясо,— подтвердил пастух. — А чего ж, корова она сочная, опричь шкуры и требухи, центнера три будет.

— А что Ненашев?

— Он говорит, мне теленка от нее нужно, обязательно. Понятно, конечно, теленочек — это неплохо. На зиму, особенно. А какой тут теленочек, ежели вон какое дело. Вот я Ненашеву и посоветовал, смехом вроде, никогда у нас такого в деревне не было,— только я перед войной на конном заводе работал...

Пастух говорил прямо, не выбирая выражений, и понять его было нетрудно. Машка поняла его тоже...

Я успел вскочить, кинулся навстречу Машке, но запнулся за колодину и упал. И это спасло пастуха. Машка, побоявшись на меня наступить, остановилась.

— Бегите! — крикнул я.

На счастье пастуха, до леса было близко, он нырнул в кусты, Машка запуталась в чаще и отстала. Тут я догнал ее и обхватил за шею.

Машка больно наступила мне копытом на ногу и остановилась.

Дыхание ее было обжигающе горячим, крутые бока тяжело раздувались и опадали, удары сердца гулко отдавались в моих руках.

— Машка, глупая... — говорил я, с трудом переводя дух. — Что ты делаешь... разве так можно?

Машка осторожно, но настойчиво высвободилась из моих рук. Постояла немного, опустив голову, потом пошла в лес, той же дорогой, которой мы пришли сюда. Она шла вначале медленно, потом все быстрее и быстрее, и не оборачивалась, очевидно, ей уже было все равно: иду я следом или нет.

Она шла напрямик, раздвигая кусты, и вышла точно к разобранной загородке. Опять пролезла через узкий проход между жердей и опять оцарапалась о сучок. Возле крыльца остановилась, потянула носом и, убедившись, что Ненашева нет дома, толкнула рогами дверь своего сарайчика.

Она так и не оглянулась на меня.

Беготня и волнения дня не прошли даром, у меня опять заболелась голова. Я лег в постель.

Липа забеспокоилась, начала отпаивать меня чаем с малиной. Я не отказывался, чтобы не обижать ее — да и хуже от малины мне стать не могло, — но попутно проглотил несколько таблеток, прописанных мне специально для таких случаев.

Я лежал с закрытыми глазами, и головная боль накатывалась на меня волнами, как морской прибой.

Наконец — подействовала малина или порошки, а может, все прошло само по себе, — волны стали накатываться все реже и реже, и я уснул.

Меня разбудил густой мужской голос, я узнал его — к Липе приехал с кордона ее муж. Она что-то сказала ему, вероятно, про меня, так как он стал говорить шепотом. Но и шепот его пробивал тонкую перегородку насквозь, я слышал каждое его слово.

— А я тебе о чем толковал, — гудел он, стуча ложкой по тарелке, — ненашевская коровка давно у меня на примете. Сразу она мне не понравилась, не коровье у нее было поведение...

Наметанный на зверя глаз охотника-лесника раньше всех разглядел странности Машки. Возможно, он меньше других удивился бы, узнав всю, такую необычную, правду о причинах ее «не коровьего поведения».

Я услышал, как стукнули его сапоги, сброшенные возле кровати. Потом все затихло на их половине...

Проснулся я, как будто меня кто-то толкнул.

Как обычно, в окно заглядывала луна, на полу лежал светлый лунный квадратик. Я уловил отдаленные тревожные голоса и глухой непонятный не то рев, не то крик. Он не походил ни на что, слышанное мною; спросонок я не мог сообразить, что это такое.

Хозяева мои тоже проснулись, хлопнула входная дверь. Наконец сонная заторможенность покинула мой мозг, и я тут же вскочил с постели.

Это же кричала Машка!

Я был в пижаме, мне оставалось только надеть ботинки.

Липа в одной рубашке стояла у окна, высунувшись в него по пояс. Лесника не было в комнате. Я выскочил на улицу и увидел его уже бегущего, со старой двустолкой в руках. «Зачем ему ружье?» — подумал я на бегу, потом опять услышал дикий рев Машки и тяжелые глухие удары, как будто кто-то колотил по забору топором.

Лаяли собаки. Хлопали двери. На улицу выскакивали встревоженные полуодетые люди и бежали вслед за нами и впереди нас.

Окна ненашевского домишка были темны. Ворота дрожали под ударами.

Чья-то светлая фигура поднялась с земли, сделала несколько шатких шагов нам навстречу. Это была Санечка. Я подхватил ее на руки. Она отталкивала меня, показывала в сторону калитки, что-то пыталась сказать. Нервная спазма перехватила ей горло, она не могла произнести слова, а только беззвучно открывала и закрывала рот. Платье ее прилипало к моим рукам — это была кровь.

Я подумал, что это не ее кровь, иначе Санечка не смогла бы выбраться за ограду и захлопнуть калитку.

Машка перестала реветь. За оградой наступила тишина. Я решил, что все закончилось. Люди подступили к забору, кто-то осторожно попытался заглянуть в калитку.

О намерении Машки догадался тот же лесник.

— Отойди, Роман! — крикнул он кому-то. — Отойди от калитки, говорю!

Должно быть, Машка ударила в калитку с разбега.

Обломки досок разлетелись в стороны. Люди кинулись врассыпную. Машка по инерции проскочила через пролом и остановилась на улице.

Освещенная луной, она стояла прямо перед нами, покачивая головой, ошеломленная силой удара. Один рог ее был сломан и висел, по белой морде тянулись темные полосы.

Санечка крикнула хрипло. Вырвалась из моих рук и упала на дорогу.

Машка двинулась на крик.

Я шагнул навстречу, убежденный, что она не бросится на меня. Лесник вскинул двустволку, и остановить его я не успел.

Одновременно с грохотом выстрела голова Машки резко дернулась вбок. Машка еще стояла, но все уже было кончено для нее. Вот колени ее дрогнули, подломились разом, и она рухнула на землю, почти коснувшись мордой моих ног.

Пыль тут же осела. Я наклонился. Глаза Машки медленно гасли.

— Н-н... — хотела она что-то сказать.

И не смогла.

Лесник стрелять умел. Так ведь я же говорил, кажется, что он работал егерем...

Ненашева подняли возле крыльца.

Он уже не дышал.

Как потом показала судебная экспертиза, рог Машки пробил грудную клетку и коснулся сердца. Вероятно, Ненашев даже не успел понять, что умирает, и умер.

Его занесли в комнату, положили на лежанку, зажгли свет. Смотреть на его лицо было жутко. Кто-то накрыл его белым халатом. Люди приходили и уходили. Женщины, боясь войти в комнату, толпились на крыльце, заглядывали в дверь, ахали. Мой лесник-егерь взял на себя обязанности милиционера, выдворил всех из комнаты и прикрыл дверь.

Я остался.

У меня здесь были еще дела. Я осмотрел комнату, заглянул в шкаф, под кровать, но не увидел того, что искал. Тогда я вышел во двор.

Было светло от луны.

Я обшарил Машкин сарайчик, свет там почему-то не горел, потом вернулся в сени, обыскал все полки, но так ничего и не нашел...

Следователь и судебный медик прилетели на самолете, который сел прямо на луг за поселком.

Мой разговор со следователем был коротким. Дальше всех он расспрашивал Санечку, но разговор этот происходил у нее дома, без посторонних.

Тело Ненашева увезли в город на этом же самолете. Я случайно видел, как это произошло: его принесли к самолету на носилках. Самолет был маленький, четырехместный, и для носилок места не нашлось. Тогда все тот же мой лесник-егерь поднял тело Ненашева и усадил на свободное место, позади пилота, рядом с судебным медиком, который обхватил труп рукой. Так они и улетели.

Машку никто не пожелал разделывать на мясо. Ее закопали на опушке леса.

На другой день я поднялся раньше, чем обычно. Липы дома не было, мой завтрак стоял на столе, покрытый полотенцем; пока мне было не до него.

Я вышел на улицу.

На дверях продуктового ларька висел замок. Саничка все еще отлеживалась дома после нервного потрясения. Куры усердно разгребали пыль на том месте, где застрелили Машку.

Ставни ненашевского домика тоже были прикрыты. Выломанную калитку забили накрест досками, очевидно, чтобы во двор не бегали ребяташки.

Я обошел кругом и через разобранную загородку пробрался в огород. Когда-то мы здесь шли с Машкой, на мягкой земле еще остались глубокие следы ее копыт. По пустой ограде шныряли воробьи. Кровь на крыльце засохла, покрылась пылью и превратилась в грязное пятно.

Я открыл дверь в Машкин сарайчик и сразу понял, почему тогда ночью ничего не мог найти.

Каким-то образом Машка сумела сбросить дешифратор с полки. Потом она долго и яростно топтала его копытами. На дощатом полу поблескивали изуродованные детали дешифратора, черные капельки полупроводников, обрывки проводов, конденсаторы. Алюминиевый корпус, сплюснутый в лепешку, лежал в углу.

Я присел на табуретку.

Восстановить дешифратор было уже невозможно. Схемы Ненашев не сохранил, он говорил, что принцип дешифратора элементарно прост, все дело в методике его применения. В этом и заключалась вся идея открытия, которое Ненашев унес с собой.

Долго сидел я, смотрел на остатки дешифратора и

думал. Разные мысли приходили мне в голову. Но среди них не было жалости, жалости по утраченному открытию. Наоборот, я был благодарен Машке, что она избавила меня от тяжелой проблемы. Что стал бы я делать, если бы дешифратор оказался цел...

Я поднял в углу сплюснутый корпус, вынес его в ограду и выбросил на кучу навоза. Затем подмел веником разбросанные по полу детальки и выбросил их туда же.

Плотно прикрыл дверь сарайчика. И вышел из ограды тем же путем, которым вошел.

Липы все еще не было. Я сидел один за столом, есть мне не хотелось. Ничего мне не хотелось. Возбуждение прошло, тяжелая усталость наполняла меня как ртуть.

Побаливала голова.

А любопытная, все-таки, вещь — этот дешифратор Ненашева!..

## ОТ АВТОРА

Я встретился с героем моей повести в больнице. Наши койки стояли рядом.

Его принесли как-то вечером. Он был очень плох. Вторичный инсульт оказался тяжелым, у него парализовало левую половину тела. Но сознание его работало на удивление отчетливо.

Ему становилось то хуже, то лучше. В один из дней, когда ему стало полегче, мы разговорились. Он узнал, что я журналист, задумался. Потом вдруг рассказал мне вот эту историю. И взял с меня слово сохранить ее в тайне, пока он жив. Он так и сказал: «Пока я жив!»

Это обещание я выполнил...





## В ТИХОМ ПАРКЕ

Он так и назывался — Тихий Парк.

Планировка его была самая старомодная — кусты, узкие аллеи, цветочные клумбы, удобные покойные скамейки. Не было ни стереомузыки, ни танцевальных кругов, ни спортивных площадок. Только фонтаны на перекрестьях аллей; тонкие струйки воды опрокидывались в бассейны с мягким шелестом, который не нарушал, а наоборот, подчеркивал тишину.

Как и все остальные парки, он был пластмассовый.

Специалист-ботаник не нашел бы в парке ни одного живого растения. И трава на газонах, и цветы на клумбах, и кустарники — все это было искусственное, все было сделано на Заводе декоративного искусства, по эскизам художников-декораторов из специальной, запрограммированной саморастущей пластмассы.

Двойная стена пластмассовых деревьев отгораживала парк от шумящего многомиллионного города.



Из городских жителей только древние старики еще смутно помнили, как выглядели живые цветы. По их мнению, искусственные растения в парке походили на настоящие так же, как мраморная статуя — пусть самая прекрасная! — походит на живого человека. Но таких людей осталось уже мало, и посетителей парка вполне устраивали искусственные растения, которые казались более красивыми, чем настоящие. Там были цветы, которые могли складывать и распускать свои чашечки и даже пахли... ароматные эссенции изготовлял Завод прикладной синтетики... Были цветы, которые распускались только по ночам, лепестки их флюоресцировали в темноте — этого уже не могли делать живые цветы.

Песок на аллеях, конечно, тоже был пластмассовый, из упругого пылеотталкивающего метабистирола.

Даже воздух... Специальные установки кондиционирования увлажняли его, обеспыливали, обогащали кислородом, и уже такой облагороженный воздух подавался на аллеи парка. Громадные насосы, фильтры, увлажнители находились глубоко под землей, шум работающих механизмов не нарушал тишины.

Тишина была самая настоящая. Это признавалось всеми и считалось главной особенностью парка.

То, что он был пластмассовый, — это не удивляло никого.

Садовод такому парку не требовался. Но установки кондиционирования, а также сложная электроника запрограммированной пластмассы нуждалась в уходе и регулировке. Человеку такое занятие показалось бы не творческим и поэтому скучным.

За всем природоподобным, но искусственным хозяйством парка следили два таких же искусственных, но человекоподобных робота.

Серийный технический робот РТ-120 считался специалистом по электронике и автоматике. В его метопластиковые пальцы были вмонтированы всевозможные датчики, индикаторы, миллиампервольтметры, и он мог обнаружить и устранить повреждение в электрической схеме во много раз быстрее, нежели человек.

Но РТ-120 разбирался только в технике и ничего не смыслил в искусстве. Если почему-либо ветка кустарника или цветок на клумбе начинали нарушать общий рисунок — тут он уже сообразить не мог. Поэтому декоративными работами заведовал другой робот — ЭФА-3, специально сконструированный для этой цели в опытном цехе Института Кибернетики.

В опытном цехе конструкторами работали женщины, и ЭФА-3 в общих чертах походила на РТ-120, но ростом была поменьше и сделана не из черного метопластика, а из более упругого коричневатого полистирола. Она имела две локационные антенны, вместо одной, хотя по электрическим данным этого и не требовалось — конструктором-художником внешнего вида ЭФА-3 тоже была женщина...

В Тихом Парке особенно хорошо было по вечерам. Когда над грохочущим городом повисало ослепительное зелено-розовое зарево ночных светильников, аллеи парка заполняли тихие сумерки.

Подсвеченные струи фонтанов бросали вокруг дрожащие голубые сполохи, дальние уголки парка освещались только слабым свечением флюоресцирующих цветов.

К причальной колонке у входа в парк подплывали огромные городские аэробусы.

Высадив пассажиров на площадку лифта, аэробус уносился неслышно дальше, как детский воздушный шарик, гонимый ветром.

Приехавшие спускались в парк и по одному, по двое исчезали в сумерках аллеи.

Сюда приезжали не развлекаться — для развлечений имелись другие места, — сюда приезжали просто посидеть и помечтать в тишине и одиночестве, или не спеша поговорить с хорошим товарищем о каких-либо житейских, но душевно необходимых делах.

Заглядывали сюда и влюбленные.

Здесь было где уединиться, спрятаться от чужих глаз, выключиться на время из суматохи громадного города, где на каждом квадратном километре площади, застроенном высотными зданиями, жили полмиллиона человек...

Скамейка ничем не отличалась от настоящей — она даже резалась ножом, — но в ней не было ни единой белковой молекулы; скамейку отлили на Заводе Общественного Оборудования из алюмонатрипластика, сырьем для которого служила глина.

На скамейке сидели двое... настоящие люди, сложное сочетание живых клеток, в свое время стихийно синтезированные неживой природой из хаоса белковых молекул; люди, которые — уже не стихийно — создали весь этот окружающий их искусственный мир.

Они впервые приехали в Тихий Парк.

Впервые выключились из толчеи городской жизни, где всегда нужно было что-то делать, где что-то ежеминутно владело их вниманием, управляло их поступками. Впервые они очутились наедине, в темной тишине аллеи, предоставленные только самим себе. Почувствовали себя растерянно и никак не могли начать разговор.

Ветви искусственного кустарника нависали над их головами. Она протянула руку, подергала за листок, хотела оторвать и не смогла.

И сказала тихо:

— Прочная...

Он тоже потрогал листок и сказал еще тише:

— Да, полимерная пропиллаза... предел разрыва шестьдесят кг на квадратный миллиметр.

— Это не пропиллаза, — робко возразила она. — Это — дексиллаза. Пропиллаза гладкая, а эта — бархатистая.

Он не понял:

— Какая?

И смутился.

— Бархатистая, — повторила она. — Ткань была такая — бархат, мягкая и пушистая.

Он не хотел спорить, но и согласиться не мог. И сказал расстроено:

— Пропиллаза тоже бывает пушистой... когда в основе дихлор-карболеновая кислота.

Она посмотрела на него с робким сомнением. Потупилась и сказала:

— На карболене... пропиллазу не запрограммируешь... — и тут же добавила радостно: — Хотя, можно поставить усилитель Клапки-Федорова...

Он тоже обрадовался:

— Конечно! — сказал он. — И пустить токи в релаксации...

— И программу записать на пленку, — добавила она.

Они исчерпали тему и говорить опять стало не о чем.

Он долго и мучительно раздумывал и наконец спросил:

— Ты что делала вчера?

Она оживилась.

— Вечером, в двадцать ноль-пять ходила в зал концертов цвето-музыки. Играли желто-розовую симфонию в инфра-красном ключе Саввы Ременкина.

— Хорошо?

— Не знаю... Видимо, у меня спектр зрения сдвинут в сторону фиолетового восприятия, за четыреста миллимикрон... Я ничего не поняла. Люди вокруг улыбались, а мне было грустно... Я думала, что ты придешь.

Он заволновался.

— Я хотел... только задержался. В лаборатории установили новый диполятор, и вчера мы свертывали пространство.

— Почему вы свертывали его вечером?

— Мы начали днем, свернули почти кубометр, а потом в диполяторе лопнул мезодатчик и мы никак не могли раскрутить пространство обратно.

— Оставили бы так.

— Ты же знаешь, что пространство держать свернутым нельзя. Может произойти временной парадокс.

— Пусть происходит.

— Что ты! Потеряется целый кубометр...

— Подумаешь, один кубометр у бесконечности. Никто бы и не заметил.

— Конечно, никто бы не заметил. Только наш профессор заявил, что мы не имеем права так бесхозяйственно обращаться с бесконечностью. Пришлось раскручивать пространство вручную, вот мы и крутили до вечера. Хорошо, что потом Бинель нашла в утиле старый мезодатчик.

— Значит, Бинель тоже... раскручивала...

— Разумеется. Она же наш мезопрограммист.

— Так я и знала...

— Послушай... ты не права. Мы с ней работаем вместе и только...

Она отвернулась. Он беспокойно задвигался на скамейке.

— Я же тебе верю... — сказал он. — Я не спрашиваю, с кем ты тогда была в автомате. Что это за молодой человек?

— Это... это не молодой человек. Это мой отец.

— Вот как? Я думал, у тебя нет отца.

— Он недавно вернулся из экспедиции к Большой Медведице.

— Сколько же времени его не было?

— Восемнадцать земных лет.

— Он такой молодой.

— Они летели на субсветовой скорости. Сейчас он моложе меня на один год.

Легкий, но холодный ветерок — настоящий, далекий гость с семидесятой параллели — проник за деревья, зашелестел искусственными листьями.

На ней было легкое платье без рукавов. Она невольно поежилась.

— Тебе холодно?

— Немножко. Мама говорит, что у меня плохо усваивается витамин группы «В», поэтому нечетко работает центр терморегуляции, и я мерзну чаще других.

Он продолжал беспокоиться.

— На самом деле, холодный ветер. Не понимаю, почему здесь не устроили би-поле над скамейками, для микроклимата.

— Вероятно, много потребуется энергии.

— Подумаешь, над каждой скамейкой полусфера в десять квадратов. По восемь на десять в пятой джоулей на квадрат.

— Ты забываешь про деревья, их тоже придется накрывать би-полем.

Тут он наконец вспомнил про свою куртку. Снял ее, накинул на ее плечи.

— Спасибо, — сказала она. — А ты?

— Мне не холодно.

Но он подвинулся ближе, она прижалась к его плечу, и они закрылись вместе одной полкой и притихли. Ее щека коснулась его щеки. Время остановилось для него, как останавливалось оно в дипольнаторе, когда

свертывали пространство. Ему хотелось сидеть так вечно...

Она думала о другом и спросила:

— Ты меня любишь?

— Что? — переспросил он. — Ах, ты в том смысле?.. Кажется, люблю.

— Почему — кажется?

Он замаялся.

— Ну... это слово, как я помню, выражает общее состояние...

Она нетерпеливо завопилась у его плеча.

— Вот и вырази свое общее состояние.

— Я не знаю, как сказать.

— Ты же читаешь художественную литературу.

— Там нет таких слов. Разве только в старинных романах. Но кто же сейчас говорит теми словами.

Она вздохнула легонько.

— Старинными словами тебе говорить не хочется. А своих у тебя нет. Мне так захотелось, чтобы ты сказал какие-нибудь старые слова.

— Зачем?

— Не знаю, — сказала она грустно. — Наверное, такие слова приятно слышать...

Он разволновался, задвигался, растерянно поморгал.

— Хорошо! Я скажу. Подожди, сейчас... — он помедлил, потом заговорил быстро и сбивчиво: — Мне всегда скучно без тебя... всегда трудно без тебя... Я всегда хочу тебя видеть. Я, кажется...

— Кажется...

— Нет, просто... я не хочу без тебя жить!.. Хорошо?

— Хорошо, — сказала она и улыбнулась чуть. — Почти так же, как у Диккенса...

Незаметные в темноте, по соседней аллее прошли два робота.

РТ-120 шагал методично и размеренно, каждый шаг его был равен метру и делал он один шаг в секунду. ЭФА-3 была ниже его, зато ножки ее двигались быстрее, и она не отставала от своего спутника.

Она остановилась первая.

Повернула в сторону сидящих на скамейке маленькие решетчатые ушки — очень похожие на кухонные шумовки, но ничего не поняла.

— Ты слышишь, что они говорят?

Слуховые детекторы РТ-120 были несравнимо чувствительнее. Он отрегулировал усиление и без труда разобрал все слова.

— Он сказал, что, кажется, любит ее. Что такое «любит», ты не знаешь?

— Конечно, знаю, — ответила ЭФА-3.

— Объясни мне.

— Ты не поймешь.

— Я попробую понять.

РТ-120 подключил в киберлогике схему сложных понятий. Он еще ни разу ею не пользовался, и схема работала нечетко. Тогда он увеличил напряжение питания. На предохранителе зацеккали голубые искорки.

Запахло озоном и изоляцией.

— Ну тебя! — сказала ЭФА-3. — Выключись, а то сгоришь. Я прочитала про любовь в справочнике.

— И поняла?

— Поняла. Почти все... — ЭФА-3 пощелкала переключателями эмоций, просто так, без надобности. — Что они еще говорят?

РТ-120 прислушался.

— Он сказал, что не хочет без нее жить. Как это так?

— Помолчи! — тихо сказала ЭФА-3. — А что он делает?

РТ-120 включил инфракрасные видеоанализаторы.

— Он обхватил ее руками за плечи, будто она падает.

— Как интересно! — сказала ЭФА-3. — Покажи, как он это сделал.

РТ-120 обхватил ЭФА-3 стальными руками, которыми легко завязывал в узел водопроводную трубу.

— Тише, тише! — воскликнула ЭФА-3. — Отпусти, сейчас же.

Она отступила на шаг.

— Посмотри, что наделал. Снял правый детектор. Теперь я потеряю слуховую ориентировку. Разве так можно!

— Я не знал, что ты такая непрочная, — оправдывался РТ-120. — Ничего, в институте тебе поставят новый локатор.

— Для меня нет запасных деталей. Я же экспериментальная модель, не то, что ты.

— Локатор помялся совсем немного, — сказал РТ-120. — Я его выправлю сам.

Он щелкнул переключателем, и на его пальце появилась отвертка.

— Осторожнее! — сказала ЭФА-3. — Не поломай.

Но повреждение на самом деле оказалось невелико. Да и локатор был не таким уж сложным, чтобы в нем не мог разобраться ремонтный робот РТ-120, запрограммированный талантливыми инженерами Завода Высшей Кибернетики...

Маленькая девочка шла за мамой к остановке аэробуса. Возле цветочной клумбы девочка остановилась.

— Мама! — сказала она. — Можно мне сорвать вон тот цветочек?

— Что ты, разве его сорвешь. Он там крепко держится.

— А как же раньше рвали цветы?

— Кто тебе это сказал?

— Дедушка Дим, который учил меня спектромузыке.

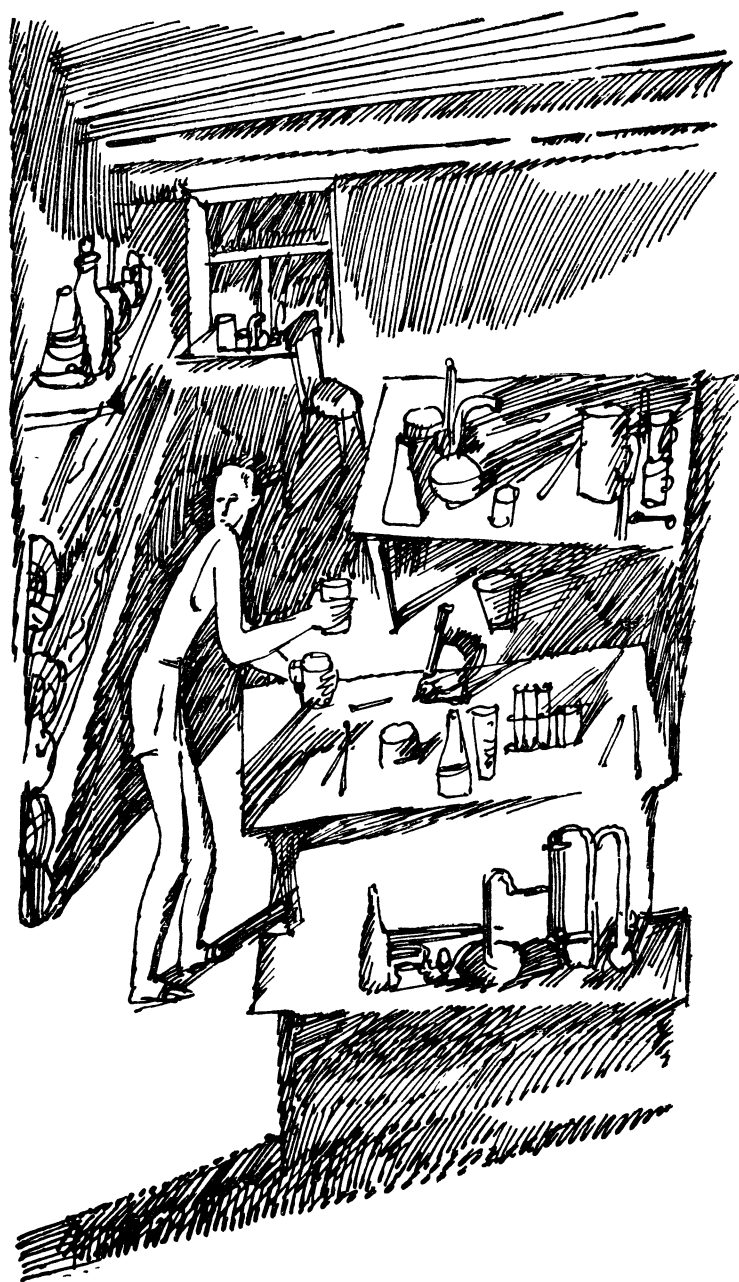
— Дедушке Диму уже сто пять лет. Он рвал цветы, когда был маленький, как ты. Сейчас таких цветов нет. Даже я никогда не рвала цветы.

Девочка расстроилась. Пока дожидались аэробуса, она стояла молчаливая и печальная. Вокруг нее было множество цветов, но она не хотела на них смотреть.

— Когда я вырасту большая, — сказала она, — я обязательно найду цветы, которые можно будет рвать.

— Не выдумывай глупости! — ответила мама.







## БАКТЕРИЯ ТИМА МАРКИНА

Дуракам и грамота вредна

*Пословица*

Спрашивать Тима Маркина, зачем он вывел эту дьявольскую бактерию, было все равно, как спросить бога, для чего тот создал комаров.

Дураком он не был — я говорю про Тима Маркина — круглым дураком, разумея. Кое в чем он разбирался. Микробиологию, например, знал куда лучше любого из нас, и биографию какой-нибудь там сонной трипанозомы, вероятно, помнил подробнее, нежели свою собственную.

За микроскопом он мог просиживать сутками и тем самым до смерти надоедал нашей препараторше, которая из-за него никогда не могла вовремя прибрать лабораторию.

В конце четвертого курса Тим Маркин выступил на кафедре с хорошо подготовленным докладом. Остроумно оперируя фактами, он рассказал нам о своих работах и наблюдениях по культивации микроба в искусственных средах.

Мы не очень любили Тима Маркина, но доклад его прослушали со вниманием, как какой-нибудь приключенческий роман. Говорить о микробах он умел.

Вот тогда-то заведующий кафедрой микробиологии профессор Янков и произнес свои знаменитые слова, которые потом я вспоминал не один раз.

— Вы очень способный юноша, Маркин, — сказал профессор Янков сразу же после доклада, — скажу больше, у меня никогда еще не было студента, который бы умел крутить ручки у микроскопа лучше, чем это делаете вы. Вы еще раз доказали и мне, и всем присутствующим, что микробиологию знаете, я бы хоть сейчас мог освободить вас от защиты диплома. И все же... — тут профессор Янков сделал продолжительную паузу, — и все же я не уверен, что вы не сделали ошибки, решив изучать медицину, а не, скажем, археологию. Вы, конечно, не понимаете меня?.. Я так и думал... Вы, Маркин, работаете ради одного любопытства. Оно у вас огромно и помогает вам находить оригинальные пути и методы к открытию незнаемого. Но медику одного любопытства мало. Глядя в микроскоп, он должен видеть не только микробов, но за ними и страдающее человечество. А вот этого страдающего человечества вы, как мне кажется, не видите.

И Тим Маркин и все присутствующие выслушали это с вежливым вниманием. Нам было по двадцать с небольшим, вежливости нас успели научить, но мудрыми мы, конечно, не были. Поэтому сочли слова старого профессора излишне сентиментальными, чтобы принимать их всерьез.

Тим Маркин, я уверен, не помнит их и сейчас, даже после всего того, что случилось...

Я уже говорил, что, несмотря на свои таланты, он среди нас симпатиями не пользовался.

Только на это были свои причины.

Человек, как известно, существо общественное и живет в среде себе подобных. Чтобы не так уж часто наступать друг другу на ноги, пришлось выработать

правила общественного поведения, условные, как правила уличного движения, но и такие же необходимые.

Повинуясь этим правилам, мы говорим «здравствуйте» и «спокойной ночи!», уступаем место женщине, спрашиваем, кто последний в очереди, и не перебиваем приятеля, когда он по забывчивости в третий раз рассказывает один и тот же анекдот.

Все эти правила воспитываются в нас с детства и привычным кодом укладываются в сознании.

У Тима Маркина такого кода не было.

Не потому, что он правила отрицал. Он о них просто не думал. Он вообще мало думал о вещах, которые не мог засунуть под микроскоп. Рассеянный и невнимательный к людям, он часто наступал на соседские мозоли. От того, что он делал это без умысла, соседям легче не было. Находиться рядом с ним было не только неприятно, но и опасно. Вообразите, что шофер за рулем вдруг позабыл правила уличного движения.

Не думайте, что сравнение уж очень притянуто — я еще не закончил свой рассказ...

Почему Тим Маркин вырос таким невоспитанным — понять было трудно. Родители его казались вполне приличными людьми. Отец был известный полярный летчик. Мать — кандидат медицинских наук, — много лет работала в Бразильском международном Институте по ликвидации лихорадок в бассейне Амазонки. Единственное, что казалось понятным, это причины, заставившие Тима Маркина поступить в Институт микробиологии. Как он сам рассказывал, когда мать писала свою диссертацию, ему было в то время менее года. Она работала дома, и если сын ей очень мешал, то она совала ему в кровать старый микроскоп.

Кажется, Тим Маркин и в институте относился к микроскопу как к занимательной игрушке.

Есть вещи, к которым нельзя относиться несерьезно.

Так как общение с Тимом Маркиным не доставляло удовольствия, то в институте все старались держаться от него подальше. Я вообще пытался его не замечать. Но не заметить Тима Маркина было нельзя, и он быстро стал мне неприятен. Потом я его не взлюбил.

На четвертом курсе мы подружились.

Не спрашивайте, почему так получилось. Гораздо труднее подружиться с человеком, к которому равнодушен.

На внекурсовой лекции по вирусологии мы случайно оказались рядом. Если Тиму Маркину было абсолютно все равно с кем сидеть, то я хотел перебраться на другое место; но лекция уже началась. Я смирился и постарался сосредоточиться на конспекте. Я усердно записывал, а Тим Маркин рисовал в тетради галочки. Он нарисовал их штук сто, потом бесцеремонно заглянул в мою тетрадь и заявил, что я допустил ошибку в тезисе.

Это был тезис профессора, я так и ответил. Но Маркина это нимало не смутило; он заявил, что не слушал профессора, а если тот так сказал, значит, он ни уха, ни рыла не смыслит в данной проблеме. Я посоветовал сообщить это профессору лично, Маркин заявил, что так и сделает при случае. Он привел свои соображения, которые показались мне восхитительно несуразными. Однако он начисто разбил меня в споре и сделал это так блестяще и остроумно, что я невольно почувствовал к нему уважение. Мы многое прощаем умному человеку.

Меня увлекла необычайность и своеобразность мышления Маркина. Он имел обо всем свое мнение, без всякого уважения относился к авторитетам и любил пофантазировать, или, как он говорил, «пожевать проблему». Когда он давал волю воображению, то зачастую забирался в такие «микробиологические» дебри, что сам не мог из них выбраться.

— Ничего! — заявлял он. — В науке решение часто приходит в результате иногда и фантастического предположения.

У него имелась своя теория синтеза рибонуклеиновой кислоты — органической основы, с которой начинается образование живой клетки.

Теория казалась мне довольно занимательной... только проверить ее было невозможно. Впрочем, Маркина это не смущало, он не задумывался над практической нужностью своих теорем.

Семья Маркиных имела небольшой летний коттедж, на опушке лесного массива, неподалеку от уни-

верситетского городка. Там были идеальные условия и для отдыха и для работы — много воздуха, зелени и тишины. Этим летом коттедж пустовал — мать Тима улетела в Бразилию, в институт, а отец где-то за семьдесят пятой параллелью водил арктический вертолет. Тим Маркин пригласил меня пожить с ним лето в коттедже.

Я легкомысленно согласился.

Коттедж был уютен. В нем имелись две комнатки, кухня и городской телефон. В одной комнатке мать Тима вела свои бактериологические исследования — там стояли термостаты и большой бинокулярный микроскоп. В отличие от соседских коттеджей, небольшую усадьбу Маркиных окружал высокий забор. Одно время отец Тима держал дома двух медвежат, которых привез с Севера. Чтобы не пугать соседей и не искушать соседских собак, он попросил плотника огородить усадьбу забором. Когда медвежата подросли, их пришлось отдать в зоологический сад. Забор остался.

Человечество должно поставить памятник усердному плотнику, который соорудил этот добротный, сшитый из досок внахлестку, без единой щелочки, забор...

Мы писали курсовые работы по лабораторному практикуму, довольно обширные по объему. Тим сделал свою за неделю. Но моя работа с каждым днем распухала, как старинный английский роман. Тим заявил, что вся моя писанина — чепуха на постном масле. Я старался его не слушать. Помочь он мне не мог, даже если бы захотел — он не умел настраиваться в такт чужим мыслям. Он заявил, что от нечего делать проверит свою теорию изменения микробов путем подбора соответствующих питательных сред.

Рассуждал он примерно так:

— Человечество за какую-то сотню поколений прошло путь от каменного топора до теории относительности. Микроб размножается несравнимо быстрее, и, следовательно, добиться его изменения можно в кратчайший срок.

Я пробовал ему возражать:

— За сотню поколений человек все же так и остался человеком.

— Микроб у меня тоже остается микробом, — отвечал Тим. — Я только изменю его характер.

На тему, что под этим подразумевать, он мог говорить, вероятно, долго. Но меня ждала моя работа, я не стал его слушать.

И зря...

Тим засел в лаборатории. Он не отходил от микроскопа ни днем, ни ночью. Черт его знает, когда он спал. Когда я ложился, его еще не было в постели, когда вставал, он уже был в лаборатории. Что-то у него не получалось, вероятно, — когда я спрашивал, он весьма откровенно грубил. Я не обижался. Не обижаются же на слепого, который невзначай толкнет вас на улице.

Хлопот по хозяйству у меня прибавилось. Обедали мы в столовой, но завтракали и ужинали дома. Готовил я все сам. Я и раньше не доверял хозяйство Маркину, небрежен и неряшлив он был до глупости, и легко мог насыпать в кашу чего-либо более вредного, нежели поваренная соль. А таких веществ на полках вокруг него было более чем достаточно. Мне еще приходилось следить, как бы он в своей лаборатории не хлебнул вместо чая карболовой кислоты.

Грэм Грин верно сказал: «...глупость молчаливо требует от нас покровительства, а между тем куда важнее защитить себя от глупости, — ведь она словно немой прокаженный, потерявший колокольчик, бродит по свету, не ведая, что творит...»

Как-то вечером, когда Тим тихо, как мышь, сидел в своей лаборатории, а я плакал на кухне, чистя луковицу для винегрета — витамины, как известно, необходимы при усиленной работе, — к нам в ограду вошел мальчуган.

Я протер глаза и увидел в его руках корзину, накрытую платком.

«Может, ягоды? — обрадовался я и, бросив свирепую луковицу в кастрюлю, выскочил на крыльцо.

— Что у тебя?

— Лягушки, — ответил мальчуган.

Я не сразу понял. Мальчуган приподнял платок. На дне корзины сидели с десяток разноцветных желтых и коричневых лягушек. Они все, как по команде, уставились на меня.

— Слушай, парень, — сказал я. — У нас нет ни ужей, ни уток. Мы лягушек не едим. Тащи их обратно в болото.

— Мне дядя заказал, — заявил охотник за лягушками. — Я и принес.

— Какой дядя?

Вероятно, Тим услышал разговор и открыл окошко своей бактериологической кельи.

— Это я просил, — сказал он хмуро. — Ну-ка, покажи! — Он заглянул в корзинку и буркнул мне: — Отдай ему рублевку.

— Зачем тебе лягушки?

Тим молча захлопнул окно. Я расплатился с мальчуганом и вернулся на кухню, к луковице, жалея, что в корзине оказались не ягоды.

Ягодки были еще впереди...

Прошло около недели. Я уже закончил свою работу и с отличным настроением переписывал ее начисто. Из своей лаборатории вышел Маркин. В руках он нес суповую тарелку.

В тарелке сидела лягушка.

С видом Мефистофеля, собирающегося сотворить чудо, он поставил мокрую тарелку прямо на листки моей работы.

Я посмотрел на лягушку.

Это была обыкновенная зеленая лягушка, очевидно, из числа тех, которые принес паренек.

— Ну? — спросил я.

— Смотри внимательно.

— А что будет?

— Сейчас увидишь.

Лягушка вдруг беспокойно задвигалась, задержала головой, издавая какие-то сипящие звуки, потом закрыла глаза и протерла их лапой.

— Понял?

— Ничего не понял.

Тим Маркин посмотрел на меня с сожалением, как на безнадёжного идиота.

— Дерево ты, — заявил он. — Не видишь — лягушка кашляет.

— Кашляет?

— Да, кашляет. Ты, может, скажешь, что лягушки не могут кашлять?



Я не знал, что ответить, да и кому бы пришло в голову задумываться над таким дурацким вопросом. Кашляющую лягушку, вероятно, можно было увидеть только в мультипликационном фильме для детей.

Лягушка опять открыла пасть и опять затряслась.

— Чего же она кашляет?

— У нее коклюш.

Я посмотрел на Маркина. Нет, он не шутил.

— Какой коклюш?

— Ты не знаешь, что такое коклюш?

Я знал инфекционную болезнь, которой болеют преимущественно дети. Она вызывается палочкообразным микробом — бактерией пертуссис. Но эта бактерия размножается только при температуре человеческого тела, в других условиях она быстро погибает. А лягушка, как известно...

— Известно, — перебил меня Маркин, — лягушка — холоднокровная амфибия. Мне удалось приучить бактерию к низкой температуре. Погляди — это единственная в мире лягушка, которая болеет коклюшем. Ты думаешь, это произошло случайно? Да я могу заразить всех лягушек коклюшем.

— Зачем?.. Для чего лягушкам коклюш?

— Бамбук! — провозгласил Тим и для иллюстрации постукал пальцем по столу. — Это же эксперимент. Уникальный в науке опыт — культивирована бактерия лягушиного коклюша. Ты смотри на нее внимательно — прелесть!

Лягушка опять задержалась и засипела. Я вынул платок.

— Знаешь, убери-ка ты свою уникальную амфибию. Мы здесь обедаем, а ты ставишь всякую пакость.

— Пакость. И это говорит медик. Мне жаль тебя, посредственность.

Тим унес свою лягушку.

Инкубационный период у коклюша от трех дней до недели. Я раскашлялся уже на следующий день и вообще почувствовал себя неважно. Тим осмотрел меня с любопытством, велел плюнуть в чашку Петри, с питательной средой, и унес чашку в лабораторию на анализ. Ночью уснуть я не мог, кашель раздирал мои легкие на мелкие кусочки. Только лошадиной дозой кодеина удалось снизить болезненность приступов.

Утром Тим Маркин показал мне стеклышко, которое только что вытащил из-под микроскопа.

— У тебя коклюш, — радостно заявил он.

— Не глупи. Я болел коклюшем в детстве. У меня иммунитет.

— Нет у тебя иммунитета. Палочка, культивируясь, приобрела новые свойства. У тебя лягушиный коклюш.

— Чему ты радуешься, идиот!

Я здорово рассвирепел и хотел высказать Тиму свое мнение о нем и о его бактерии, но так раскашлялся, что чуть не лопнул от натуги.

Пришлось идти в детскую поликлинику. Там работала Натка Лукьянова с нашего курса — она специализировалась по детским болезням. Про лягушку я ей не стал рассказывать, и Натка вначале было посмеялась над моим диагнозом. Но тут меня скрутил очередной приступ, я без сил завалился на кушетку у нее в кабинете, и она поняла, что дело нешуточное.

Окаянный лягушиный коклюш здорово отличался от обычного, интоксикация была такая сильная, что я начинал бредить. Удивленная Натка пригласила профессора. Тот тоже не много чего понял — палочка под микроскопом выглядела обыкновенно, а про лягушку я по-прежнему ничего не говорил.

Меня положили в отдельную палату.

Я продолжал кашлять. Настроение у меня было неважное. Примерно через неделю ко мне вошел Тим Маркин.

Вид у него был сочувствующий, но я на него смотреть не мог.

Он, не смущаясь, присел ко мне на кровать, подмигнул весело — скотина! — оглянулся на дверь и сунул бутылочку из-под детского молока с какой-то зеленой бурдой.

— Это что еще? — прохрипел я враждебно.

— Бактериофаг, от лягушиного коклюша. Три раза в день по глотку.

— Пей его сам!

— Дурень! — зашептал он. — Да ты завтра же будешь здоров. Я уже проверял.

— На лягушках?

— На себе проверял. Пей, не бойся.

Тим ушел, а бутылочка осталась.

Я решил, что терять мне нечего, и начал, тайком от Натки, прихлебывать из бутылочки.

Через два дня кашель исчез, как и не было. Натка разводила руками, профессор тоже. Они подвергли меня всестороннему исследованию, но палочки не нашли.

Натка хотела публично показать меня в клинике (еще бы — уникальный случай!), но я кое-как упротосил ее не делать этого и спастся от позора. Из больницы меня выписали, однако история эта даром не прошла — я накашлял небольшую эмфизему, и Натка посоветовала съездить на месяц в санаторий.

Когда я заходил в коттедж за вещами, Тима не было дома. Я оставил ему прохладную записку и уехал.

Месяц отдыха в южном санатории привел меня в норму. Лягушинный коклюш уже казался мне не печальным событием, а комическим происшествием. Поэтому, вернувшись, я направился опять к Тиму Маркину.

В комнатах было грязно и не прибрано. Возле дивана, рядом с ботинками Тима стояла тарелка с остатками ужина. Зато носки Тима лежали на обеденном столе. Остальное все было примерно на своих местах. Тим тоже был на своем месте — сидел за микроскопом в своей келье.

Он не ответил на приветствие, а поманил меня пальцем с таким видом, как будто я не уезжал на месяц, а уходил за хлебом в булочную. Мне сразу же не понравился его вид — радостный и взволнованный — моя интуиция работала лучше, чем рассудок. У меня даже что-то екнуло под ложечкой.

Однако я подошел.

— Гляди! — сказал он.

Я осторожно заглянул в микроскоп, боясь увидеть какое-нибудь новоизобретенное чудовище. В прозрачно-голубоватом круге лежала коричневатая палочка. Она была недвижимая, безобидная на вид, я немного успокоился.

— Видишь палочку?

— Вижу, конечно, — ответил я.

— А ты когда-нибудь такую встречал?

Окуляр микроскопа был засален и покрыт пылью — обычная вещь у Тима Маркина — я протер платком

и вновь пригляделся к бактерии. Форма ее показалась мне незнакомой.

— Похожа на палочку пневмонии, — заметил я.

— Это не она.

— Я не говорю, что она. Я говорю — похожа.

— Ничего ты не смыслишь в бактериях, — заявил Тим. — Это совершенно новый вид. Я его вывел сам. Культивировал палочку лягушиного коклюша.

Меня будто кто отпихнул от микроскопа — так быстро я от него отскочил. Нет, вы только подумайте!

— Не бойся! — ухмыльнулся Тим. — Она безвредная. За время культивации потеряла свои ядовитые свойства. Зато приобрела новые. Она теперь питается воздухом.

— Как воздухом?

— Очень просто. Поглощает из воздуха кислород, влагу, еще что-то, я не уточнил, и растет. Даже размножается. Как полагается порядочной бактерии, делится пополам. Да, я вот тебе сейчас покажу — ахнешь!

Не вставая с места, Тим протянул руку, стащил с полки большую стеклянную банку, с притертой крышкой. Он чуть не уронил ее на пол, но вовремя подхватил и поставил передо мной на стол.

Половину банки занимала странная коричневатая масса, очень похожая на плесень. Вид ее показался мне отвратительным.

— Гляди!

Тим поднял крышку.

Пахла эта мерзость еще отвратительней.

— Фу! — невольно откачнулся я.

— Чего — фу?

— Воняет.

— Воняет? — Тим посмотрел на меня презрительно. — Ты медик, или кто? Обыкновенный запах, метан, углеводороды — нормальные продукты обмена живой клетки... Воняет! Институтка ты, а не микробиолог.

Конечно, можно было ответить Тиму, чтобы он оставил институток в покое, так как наверняка знал о них меньше, нежели о микробах. Но мне не хотелось лить масло в огонь.

Тим сварливо ожидал возражений.

Я ничего не сказал.

— Ладно, — сказал он. — Хоть ты и дерево...

Мне опять удалось промолчать.

— Тогда, смотри! — Тим показал на банку. — Внимательно смотри.

Я пригляделся и заметил, что плесень в банке, после того, как Тим открыл крышку, начала вспучиваться, поверхность ее — вначале гладкая — медленно вздувалась бугром, как поднимающееся тесто.

— Растет! — возгласил Тим.

Догадаться было нетрудно.

— Это она?

— Она самая, моя палочка! — похвастался Тим. Он смотрел на противную плесень влюбленным отцовским взглядом. — Видал, как растет... У меня на днях разводки сгорели — в термостате регулятор испортился — все палочки погибли. Я уже думал — ну, все — пропала вся моя культивация. И вдруг нашел одну, живую. Сунул ее в эту банку. Это все от одной бактерии.

— За какое время?

— За какое? — Маркин задумался. — Не помню точно. Суток за двое, кажется.

Двухлитровую банку коричневая плесень заполняла до половины. И это от одной только палочки, длиною каких-то там пять микрон. Закон геометрической прогрессии работал неумолимо... одна палочка... две... четыре... восемь...

Плесень в банке продолжала расти. Бугор ее становился все выше и выше, а запах все резче и омерзительнее... Мне стало не по себе.

— Слушай, Тим! Она сейчас поплывет через край.

— Не поплывет, — Тим смазал края крышки вазелином, для герметичности, и закрыл банку. — Она растет только на воздухе. В закрытом помещении палочка не размножается.

— За каким дьяволом ты ее вывел? Зачем она тебе понадобилась?

— Зачем? — удивился Тим. — Да ни за чем. Просто, занялся, от нечего делать. Ты уехал, мне стало скучно, а палочка лягушиного коклюша оказалась под рукой. Я решил поработать над ней, для практики. Занятная получилась бактерия?

— Не очень.

— Брось, это ты по старой памяти все еще о ней плохо думаешь. Палочка — что надо. Размножается как — блеск!

Он небрежно пихнул банку на полку. Она звякнула там о другие банки. Я невольно подумал, что если бы она сейчас разбилась...

— Осторожнее, разведешь заразу по всему дому.

— Не разведу, я аккуратно. (Это Тим говорит об аккуратности!). Чего беспокоишься, я же сказал, что она безвредная. Не веришь?.. Хочешь, я ее сейчас съем?

Когда Тим Маркин хотел что-то доказать, он не особенно разбирался в средствах. Я не сомневался, что ради идиотского опыта он мог проглотить свои палочки и стать их живым рассадником. Для меня вполне достаточно было зрелища коричневой плесени в банке. И кто знает, насколько она безвредна, эта бактерия. Тим Маркин над такими проблемами особенно не задумывался.

Мне очень не понравилась коричневая плесень. Мало сказать, не нравилась, она меня напугала, когда так быстро полезла из банки. Напугала своей ничем не истребимой и неоградимой способностью к размножению. Это был злой джин в бутылке.

Тим Маркин в любую минуту мог его выпустить на свободу.

Мне некогда было долго раздумывать. Банка стояла на полке, и я уже знал, что должен сделать.

— Слушай, Тим,— сказал я. — Ты, вижу, тут совсем очумел от своих культиваций. У меня в чемодане бутылка армянского коньяку. И ореховая халва. Специально с юга захватил. Пойдем отметим встречу.

Видимо, Маркину на самом деле надоело сидеть одному. Из ребят, ручаюсь, за это время к нему никто не зашел, и поговорить ему было не с кем.

Я послал его мыть руки на кухню, а сам вернулся в лабораторию.

Бутылка с формалином стояла тут же на полке. Чтобы плеснуть из нее в банку с плесенью, не требовалось много времени. Я закрыл банку притертой крышкой, решив, что если Тим приучил бактерию к воздуху, то к формалину он приучить ее еще не успел.

Весьма довольный своим поступком, я вошел в нашу столовую, достал из чемодана бутылку... и вдруг у меня мелькнула мысль, будто я не сделал всего, что нужно.

Я хотел вернуться в лабораторию, но из кухни уже появился Тим Маркин.

Мы не спеша прихлебывали коньяк и закусывали ореховой халвой — в доме Тима не было и сухой корки, — и вскоре приобрели то расслабленно-благодушное настроение, которое после первых же рюмок обычно появляется у людей малопьющих. Я выложил Тиму парочку глупеньких анекдотов, которые привез с юга, вместе с коньяком и халвой. Тим прочувственно рассказал мне историю, как он культивировал свою бактерию. История здорово походила на старый анекдот о цыгане, который приучал лошадь не есть, — только у цыгана лошадь в конце концов подохла, а бактерия у Тима Маркина, к великому сожалению, осталась жива.

Мы до ночи проговорили на микробиологические темы, допили коньяк и отправились спать. Тим в лабораторию больше не заходил. Да и я, признаться, в состоянии коньячного оптимизма позабыл все свои опасения и тоже не вспомнил о бактерии.

Ночью я неожиданно проснулся.

Мне привиделось во сне, что я сижу на крохотном островке среди безобразного моря коричневой плесени. Она медленно, но неумолимо поднимается все выше и выше, постепенно затапливая мой островок, уже подползает к моим ногам. А я мучительно стараюсь что-то вспомнить, что-то очень важное, не знаю — что именно, только знаю, что от этого зависит моя жизнь.

Мне стало страшно, я проснулся и попытался даже сообразить, что же такое нужно было вспомнить. В окно светила луна, наполняя комнату неясным таинственным светом. Тим спал. Я поднялся с постели, осторожно пробрался в лабораторию, снял банку с полки. Ядовитые пары формалина сделали свое дело — от плесени остались только бурые хлопья на стенках. Запах формалина смешался со зловонием погибшей плесени, и догадаться о его присутствии, руководствуясь только обонянием, было бы трудно.

Я успокоился и забрался в постель.

Первое, что я увидел утром, открыв глаза, это был Тим Маркин. В одних трусах он стоял возле моей постели и, видимо, только хотел меня разбудить.

В руках его была та самая банка.

— Понимаешь, — сказал он озабоченно, — бактерия за ночь подохла.

— Неужели? — пробормотал я спросонок. — Какая жалость!

Тим подозрительно покосился на меня и решил, что я еще не совсем проснулся.

— Что с ней случилось, — продолжал он, разглядывая бурные клочья в банке. — Самоотравление, может быть?

Я поддержал его диагноз и поспешил заняться зарядкой. Тим ходил по комнате с банкой и продолжал сокрушаться. Он долго скорбел над своим преждевременно скончавшимся творением. Потом вдруг остановился, лицо его прояснилось. Я насторожился!

— Я идиот! — возгласил он. — Под микроскопом осталась одна палочка. Сам вчера положил.

Он помчался в лабораторию.

Вот тут-то я и сообразил, чего не доделал вчера, о чем старался вспомнить и что подняло меня среди ночи. Весьма недовольный собой, я направился следом за Тимом.

Склонившись над микроскопом, он раздраженно двигал стеклышком под объективом и крутил регулировочные винты.

Нетрудно было догадаться — самое худшее случилось...

— Тим, — сказал я. — Ты потерял бактерию.

— В том-то и дело, — буркнул он. — Смели, должно быть, ее на стол.

Размеры бедствия еще не дошли до него, но я уже представил их отчетливо. За ночь палочка успела размножиться. Мы разнесли ее на ногах по дому. Мы не выходили за ограду, но ветром палочку могло перебросить на улицу и рассеять по городу.

— Ну и что? — огрызнулся Тим. — Чего ты паникуешь? Я же сказал, что она безвредная.

— Безвредная?! — как ни бесила меня сейчас бестолковость Тима, как ни удивляло это соединение крайней тупости и таланта, я понимал, что злиться



сейчас и бесполезно и неразумно. Но объяснить ему опасность его затеи было необходимо. Почему я не подумал об этом вчера?

— Сейчас я тебе покажу, какая она безвредная.

Я шагнул в комнату, сдернул колпачок с авторучки и схватил первую попавшуюся тетрадь.

— Это же мой конспект,— сказал Тим.

— Конспект?.. Черт с ним, с конспектом. Он может тебе и не понадобиться.

— Ты что, спятил?

Катастрофа надвигалась неощутимо, хотя ничего вокруг еще не выдавало ее приближения. Мне самому трудно было поверить в нее, мне хотелось убедить не только Тима, мне хотелось реально измерить величину беды... Я считал и повторял свои расчеты вслух, специально для Тима.

— Если за двое суток одна бактерия дает потомства один литр, то за трое суток... приблизительно, тысяча кубометров. На четвертые сутки...

Тим перестал искать бактерию. Он выпрямился и посмотрел на меня, мысли его принимали нужное направление.

— Не будет же она... так размножаться...

— А что ее может задержать? — спросил я.

— Что?.. Ну, солнечные лучи, например... впрочем, я не проверял,— сознался он.

— Не проверял... Ох, Тим, почему ты не поступил в строительный институт? На четвертые сутки... получится тысяча кубических километров. Тим, если твою бактерию разнесет ветром по всему миру, то на пятые сутки она высосет весь кислород, она затопит все материки и океаны. Через пять суток земля превратится в голую пустыню, без растений, без животных и без людей. Кому будут нужны тогда твои конспекты, Тим?.. Теперь ты понял, что ты соорудил?

Лицо у Тима побледнело. Он сел за стол и, уставясь на меня, молча забарабанил пальцами по столу. Воображение у него всегда работало отлично.

Я выглянул в окно. Листья на березах за оградой слабо шевелились от ветерка, но у нас в ограде, за высоким забором, казалось тихо. Тонкие стебельки пырея по краям дорожки стояли недвижимо...

— Забор... — невольно произнес я.

— Что забор?.. — кинулся к окну Тим.

— Забор хороший,— повторил я. — Подумать только, если бы не забор...

— Но не может же этого быть, наконец! — воскликнул Тим.

— Это может быть,— сказал я. — Но этого не должно быть. Звони скорее профессору Янкову.

К великому счастью, профессор Янков оказался дома.

Ему не нужно было объяснять, он сразу все понял, сразу догадался о серьезности надвигающейся беды. Он говорил громко, а телефон работал отлично, и хотя трубка была у Маркина, я слышал все, что сказал ему профессор.

— Если бы вы оказались в коттедже один, Тим Маркин, — голос профессора стал необычно суров, — пожалуй, проще всего было бы залить вашу усадьбу бензином и сжечь ее вместе с вами. Да, да, вместе с вами! К сожалению, рядом находится другой человек, повинный только в том, что неосмотрительно выбрал вас себе в товарищи. В данном случае эта неразумность принесла пользу, я уверен, что это он подумал о том, о чем никогда не думали вы... Сидите оба дома. Никуда не выходите... Слышите — никуда!.. Отгоняйте от усадьбы бабочек и воробьев. И ждите... Я приеду к вам так скоро, как смогу. Соберите несколько бактерий в пробирку, закройте ее и держите при себе.

Тим Маркин выслушал все в покорном молчании. Так же молча он положил трубку и отправился в лабораторию.

Я захватил удилище, привязал к его концу свой галстук и вышел на крыльцо. Я сидел на ступеньках, помахивал удилищем, а вокруг меня в зловещем безмолвии размножались колонии коричневых палочек. На полу дома, на траве ограды расползалась отвратительная плесень, пока еще не видимая глазу, но уже несущая смертельную угрозу всему видимому миру.

Вскоре появился и Тим. Он показал пробирку, заткнутую пробкой и залитую менделеевской замазкой.

— Десять штук на столе нашел.

Он присел рядом, помолчал, потом беспокойно покашлял.

— Интересно... если бактерия попадет с воздухом в легкие?..

Он не стал продолжать.

Я стиснул зубы от злости. Что можно было тут сказать?

Через полчаса на нашей тихой улочке послышалось отдаленное гудение тяжелых грузовиков.

Профессор Янков трезво оценил угрозу, которой был начинен наш коттедж, и понимал, что просчет здесь может привести к катастрофе, размеры которой представить было нетрудно. Поэтому он решил, что в таком случае лучше пересолить, чем недосолить.

Нашу усадьбу окружило более десятка специальных автомашин. Здесь были и пожарные машины, и машины для химической дезинфекции, и для борьбы с сельскими вредителями, и огнеметы, и даже автокран с длинной стрелой и крюком.

Профессор Янков командовал с крыши машины, его приказания усиливались динамиками — он здорово походил на режиссера, снимающего кинофильм. Мы выступали в роли главных героев.

Автокран передал стрелой через забор два водолазных скафандра. Мы с Тимом натянули тяжелую резину, завернули друг другу шлемы. Потом тем же краном нас по очереди подняли в воздух, обмыли тут же над оградой струей креозота из брандспойта и погрузили в санитарный фургон.

Нам не слышно было, что говорили люди, — водолазные шлемы не пропускали ни звука. Но через иллюминатор шлема я увидел лицо шофера санитарного фургона. Оно мне хорошо запомнилось. Я же не мог сказать ему, что я тут ни при чем...

Нас увезли, и мы не видели, что происходило дальше...

Усадьбу Маркиных залили керосином, потом пустили огнеметы, и от коттеджа и от забора остался на земле черный выжженный квадрат. На весь Университетский городок, на поселок был наложен карантин. Трое суток люди сидели по домам. По улицам день и ночь ходили поливочные машины, кропя землю и стены строений искусственным дождем, чтобы не дать возможность палочке вместе с пылью быть унесенной ветром.

Специальные санитарные отряды проверяли, не появятся ли где-либо следы коричневой плесени.

В дезокамере я пробыл неделю. О том, что со мной делали, даже неохота и рассказывать. Хорошо, что меня поместили отдельно от Маркина.

Он пробыл в камере на несколько дней дольше, нежели я. Если бы это зависело от меня, я не выпустил бы его из дезокамеры до конца его жизни...

Сейчас, когда все уже в прошлом, а мысли и чувства успокоились, я думаю, что, вероятно, тогда несколько преувеличил угрозу, грозящую миру и человечеству. Как показали опыты, палочку Тима Маркина солнечные лучи, например, убивали за полчаса. Но в благоприятных условиях, в сырых затененных местах она размножалась безудержно. Ветром палочку могло занести в укромные уголки нашей планеты, и разыскивать ее там стоило бы больших хлопот.

Я не знаю, где сейчас Тим Маркин. Мне неизвестно, чем он занимается. Мне хочется обратиться к товарищам, которые работают с ним, пусть они не спускают с него глаз.

Не придумал бы он еще чего-нибудь!..

## ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Фантастика для автора — это, прежде всего, размышление о будущем.

Заглядывая в будущее, мы надеемся увидеть его радостным и светлым. Это естественно, это лежит в основе нашей натуры — мы оптимисты и всегда склонны больше верить в хорошее, нежели в плохое. Мы также знаем, что все, чему мы радуемся сегодня,— это плод наших совместных усилий. И все, к чему мы стремимся в будущем, тоже появится не само собой, а в результате упорного коллективного труда.

Технический прогресс невообразимо расширил возможности людей. Их могущество растет с каждым днем. И поэтому очень важно, чтобы все достижения человечества не были предметом наживы и запугивания, что пока имеет место в капиталистическом мире.

Залог нашего светлого будущего в умелом и продуманном освоении природы, в столь же продуманном развитии техники, науки и культуры. И здесь фантастика позволяет развивать любую научную или общественную проблему в любом направлении и как угодно далеко — вплоть до абсурда! При этом автор часто использует метод, который в математике носит название: «доказательство от противного». Фантастический жанр дает возможность любую проблему рассматривать и исследовать с позиции: «а что будет, если...» И это позволяет прийти к любопытным выводам.

В нашем мире сказочно быстро (зачастую, опережая фантастику!) развивается, совершенствуется медицина. Ученые-медики заглядывают в самые потаенные уголки человеческого мозга и уже могут искусственно вызывать простейшие эмоции, воздействовать на психику. Все сложнее становятся опыты, и все больше вырастает ответственность ученых за результаты их поисков.

Что получится, если достижения медицины попадут в руки аморального или близорукого ученого? Автор попытался ответить на эти вопросы рассказами «Машка» и «Бактерия Тима Маркина».

Человечество обживает свой дом, свою Планету, приспособлявая ее к своим вкусам и неудержимо растущим потребностям. Среди полей и лесных массивов появляются буровые вышки, запахи цветов вытесняются запахами нефти и бензина. Появляются химкомбинаты, бумкомбинаты, закладываются новые шахты, — человеку так много всего нужно! Вырубаются вековые леса, на их месте прокладываются асфальтовые дороги, вырастают многоэтажные кварталы городов. Человек теснит природу по необходимости.

И не всегда делает это разумно.

Хочется привести образные слова известного и у нас английского ученого-натуралиста Джеральда Даррела:

«...мы получили в наследство невыразимо прекрасный и многообразный сад, но беда в том, что мы никудышные садовники. Мы не позаботились о том, чтобы усвоить основные правила садоводства. С пренебрежением относясь к своему саду, мы готовим себе в не очень отдаленном будущем мировую катастрофу, не хуже атомной войны, причем делаем это с благодушным самодовольством малолетнего идиота, стригущего ножницами картину Рембрандта...»

Нигде так не заботятся о своем саде, как в нашей стране. У нас есть все возможности гармоничного сосуществования Природы и Человека. Но даже у нас возникают проблемы: вспомните газетные дискуссии о судьбах наших рек, озер и лесов.

Пользуясь уже упомянутым приемом фантастики: «а что, если?..», автор и написал рассказ «В Тихом Парке».

Конечно, читатель не должен принимать обстановку, изображенную в рассказе, как пророчество. Автор не считает такое будущее неизбежным и так же, как и читатель, верит в хорошее, верит, что на нашей Земле всегда будут расти настоящие деревья и цвести настоящие живые цветы.

А нарисовал он такое будущее только потому, что уж очень не хотелось бы ему жить в таком «пластмассовом» мире.

## СОДЕРЖАНИЕ

ДАЛЕКАЯ ОТ СОЛНЦА . . . . .	5
МАШКА . . . . .	37
В ТИХОМ ПАРКЕ . . . . .	71
БАКТЕРИЯ ТИМА МАРКИНА . . . . .	81
Послесловие автора . . . . .	100



**Михеев Михаил Петрович**  
**ДАЛЕКАЯ ОТ СОЛНЦА**

✱

Редактор Ю. М. Мостков.  
Художественный редактор В. П. Минко.  
Технический редактор В. М. Лисина.  
Корректор О. М. Кухно.

✱

Сдано в набор 2 июня 1969 г. Подписано  
к печати 6 августа 1969 г. Формат 84×108<sup>1/32</sup>,  
1,62 бум. л. Бумага типографская № 2.  
5,46 печ. л., 5,35 изд. л. МН00331. Ти-  
раж 100000. Цена 16 коп.

✱

Западно-Сибирское книжное издательство,  
Новосибирск, Красный проспект, 32. Заказ  
№ 6160. Типография изд-ва «Омская прав-  
да», г. Омск, 56, проспект К. Маркса, 39.

Сканирование - Беспалов  
DjVu-кодирование - Беспалов



Цена 16 коп.



МИХАИЛ МИХЕЕВ

